Григорий ДАНИЛЕВСКИЙ

МИРОВИЧ

Серия исторических романов

Григорий Данилевский

Мирович

«ВЕЧЕ»
1879

Данилевский Г. П.

Мирович / Г. П. Данилевский — «ВЕЧЕ», 1879 — (Серия исторических романов)

Россия, 1762 год. Недолгое царствование Петра III подходит к концу. Утонченная Европа и дикая Азия с трудом уживаются рядом друг с другом. Наследник обедневшего рода подпоручик Василий Мирович случайно узнает государственную тайну: секретным узником Шлиссельбургской крепости, возможно, является настоящий наследник престола. Мечтающий сделать карьеру при дворе, Мирович решает воспользоваться обострившейся политической ситуацией и рискнуть. Но для государственного переворота нужны надежные соратники. Мирович начинает поиск…

© Данилевский Г. П., 1879
© ВЕЧЕ, 1879

Содержание

Об авторе 6
Избранные произведения Г. П. Данилевского 7
Часть первая. Царственный узник 8
I. Курьер из завоеванной Пруссии 8
II. Прошлое Мировича 16
III. Петербург времен Петра Третьего 25
IV. Дрезденша 37
V. След найден 48
VI. Несчастнорожденный 55
Конец ознакомительного фрагмента. 62

Григорий Данилевский
Мирович

* * *

© ООО «Издательский дом «Вече», 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2014
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Знак информационной продукции **12+**

Об авторе

Григорий Петрович Данилевский родился 14 апреля 1829 года в Харьковской губернии в семье богатых дворян. С ранних лет он ощущал в себе сильную тягу к природе, языку и культуре милой сердцу Украины. Эта любовь нашла отражение и в последующем литературном творчестве Данилевского. Практически во всех произведениях писателя среди персонажей присутствуют украинцы.

Студенческие годы молодого Данилевского были отмечены двумя событиями: первыми поэтическими публикациями и арестом по делу кружка петрашевцев, с последующим тюремным заключением в Петропавловскую крепость. Лишь благодаря ходатайству матери начинающего литератора следственная комиссия и сам царь Николай I смогли быстро разобраться в абсолютной непричастности к делу студента Данилевского, «водившего не более чем случайное знакомство с одним из заговорщиков».

После учебы на юридическом факультете Петербургского университета молодой человек поступил на службу в Министерство народного просвещения и быстро сделал карьеру, уже через год став чиновником по особым поручениям. Среди его заслуг – подробное описание побережья Азовского моря и устья реки Дон. Не оставляя мелких литературных занятий, Данилевский всерьез начинает заниматься историей. Он часто выезжает в длительные командировки в монастыри юга России для работы в местных архивах. В 1851 году Данилевский знакомится с Гоголем, после чего в творчестве молодого литератора начинают преобладать произведения из украинской жизни, с ее колоритным юмором, бытовыми особенностями и мягкой природной красотой. Наибольший интерес у читателей и критиков снискал его сборник «Слобожане», выпущенный в 1853 году и состоящий из коротких рассказов на темы малороссийской старины.

Выйдя в отставку, в 1857 году Данилевский возвращается в родное имение и включается в общественную деятельность, но тяга к творчеству оказывается сильнее. Он решает перейти от малой формы к большой.

Его первый роман «Беглые в Новороссии», подписанный псевдонимом А. Скавронский, публиковался в журнале братьев Достоевских «Время» в 1862 году. После успеха этого сочинения Данилевский пишет еще два романа из жизни Приазовского края – «Беглые воротились» и «Новые места». Эти произведения с запутанной интригой были близки к популярным тогда авантюрным романам с лихими подвигами разбойников, погонями и похищениями. Устав от современности, Данилевский решает написать повесть «Потемкин на Дунае», с которой и начинается его вторая половина творчества, почти исключительно посвященная исторической беллетристике.

Один за другим появляются романы «Мирович», «Княжна Тараканова», «Сожженная Москва», «Черный год». Эти и ряд других произведений, повествующих о «делах давно минувших дней», отличаются большим разнообразием сюжетов и умением автора быстро завладеть вниманием читателя. Подходя к своей работе со всей серьезностью историка-исследователя, Данилевский всегда старался посещать описываемые им места. «Эпоха оживала под пером Данилевского», – говорили с восторгом современники автора.

Последние годы жизни писателя прошли в Петербурге, где он занимал пост главного редактора газеты «Правительственный Вестник». Дослужившись до чина тайного советника, Григорий Петрович Данилевский ушел из жизни в городе на Неве, в самом конце 1890 года, достигнув уважения и почета как литератор и общественный деятель.

В. Мартов

Избранные произведения Г. П. Данилевского

«Беглые в Новороссии» (1862)
«Беглые воротились» («Воля») (1863)
«Новые места» (1867)
«Девятый вал» (1874)
«Потемкин на Дунае» (1878)
«Мирович» (1879)
«Княжна Тараканова» (1883)
«Сожженная Москва» (1886)
«Черный год» (1888–1889)

Часть первая. Царственный узник

– Да, – скажут наши правнуки, – им было больно угнетение России.
Ледяной дом

I. Курьер из завоеванной Пруссии

Императрица Елисавета Петровна скончалась 25 декабря 1761 года, в самый разгар войны России с Пруссией. Войска Фридриха были уже не те: лучшие его офицеры убиты или взяты в плен.

За год перед тем отряд генерал-поручика Петра Ивановича Панина овладел Берлином. Казаки, с союзниками-кроатами, опустошили столицу Фридриха Второго, разграбили в ней до трехсот домов, не пощадили и загородного королевского дворца: изломали в нем дорогую мебель, перебили фарфор, бронзы и зеркала, изорвали штофные и гобеленовые обои, изрубили итальянские картины и разнесли в клочки кабинет редкостей.

Начальники не отставали от подчиненных. Дано было приказание прогнать сквозь строй «Под-липами» берлинских «газетиров» за то, что эти публицисты слишком обидно и дерзко писали о русских. Вследствие такого приказа «противные России, печатные в газетах письма» жгли через палача под виселицей, а сочинителей тех писем вывели на экзекуционс-плац, чтобы наказать, за их противности, шпицрутеном. Генерал Чернышев их помиловал. Одного «дусёргельда» на вино, на сигары и вообще на угощение русской армии было истребовано от Берлина сто тысяч. Измена командира отдельного русского корпуса, графа Тотлебена, и его арест, с общего совета всех русских полковых командиров, на марше в Померании не изменили рвения победоносной армии. Положение Фридриха было отчаянное. Он из прусского короля стал опять ничтожным бранденбургским курфюрстом. В Кёнигсберге поселился русский губернатор, отец Суворова. Вся Пруссия была завоевана и – после роковой надписи Елисаветы «быть по сему» на докладе о ее присоединении – присягнула в подданство русской императрице. В этой новой «губернии» стали вводить русские порядки. В ней явилась русская миссия с архимандритом; начали чеканить русскую монету. И вдруг обстоятельства изменились…

Племянник Елисаветы Петровны, император Петр III, в самый день смерти тетки, вошел с обожаемым им королем Фридрихом в переговоры о перемирии. Губернатор Суворов, по именному указу, сдал войска и управление прусским королевством генерал-поручику Петру Ивановичу Панину, а сам уехал в Петербург и стал, из-за долгов, публиковать в ведомостях о продаже своего имущества. За ним, радуясь манифесту «о вольности дворянства», двинулись под разными предлогами в Россию и другие офицеры, особенно штабные. Огорчения обидных уступок забывались. Всех волей-неволей манило из долгого похода на родину…

В конце февраля 1762 года, на курьерской тройке в пошевнях, по пути из Пруссии в Петербург выехал среднего роста, лет двадцати двух, сухощавый, с черными строгими, несколько рассеянными и как бы недовольными глазами, офицер из Кёнигсберга. Был второй час пополудни. Он спешил застать присутствие в военной коллегии. От въезда в город у Калинкина моста до здания коллегии (Штегельмановский дом на Мойке, у Красного моста, – где ныне Институт глухонемых) офицер всячески торопил ямщика. Десять дней в пути в ростепель и половодье по Литве сильно его утомили. Он вез собственноручные бумаги

Панина, с робким, хотя ясным предложением – попытаться продолжать войну. В мыслях офицера рисовался ожидаемый им, полный неизвестности, прием, борьба Панина с дворскими партиями и вероятное сочувствие и поздравления товарищей. Он добрался до коллегии, одернул на себе поношенный зеленый, с таким же воротом, кафтан и красный камзол, обмахнул снег с черных штиблет и тупоносых, без пряжек, истоптанных башмаков и оправил ненапудренные букли и космы развившейся в дороге светло-русой, запорошенной инеем косы. Спросив в коллегии генерала, к которому вез от Панина еще частное письмо, он сдал пакеты и, измученный дорогой, ожидал, что его станут расспрашивать, готовил в уме ответы, подбирал убедительные слова.

«Войско, – думал он, – рвется сражаться, смелый прожект Петра Иваныча одолеет… Себя не пожалею, всю правду докажу. Лишь бы отечеству польза, – лишь бы оценили смелость столь честного и неподкупного командира!..»

Белолицый, важный ростом и повадкой, дежурный генерал Бехлешов прочитал привезенное письмо, остальные бумаги отложил к стороне, пристально вгляделся в посланного, сердито потоптался на месте и, презрительно фыркая, сказал:

– Новости твои, сударь, вовсе не важны… А Петр Иваныч хоть и почтенный патриот, почтенный, – но… да это не твое дело… Война – экие смельчаки! Тут о перемирии, а они о войне! Завтра, сударь, воскресенье… а впрочем, наведайся послезавтра…

Офицер вспыхнул. «Ах, ты, кукла плюгавая, пузырь! – хотел он сказать. – Еще о патриотах судит. Ну, да этот еще не бог весть какая птица! Что скажут другие, вся коллегия?»

Он вздохнул, вышел, постоял, несколько опешенный, на улице и велел ямщику ехать на Васильевский остров. На сердце у него отлегло. Вид знакомых, когда-то близких мест отрадно повеял на него. И солнце кстати выглянуло и так весело осветило улицы, дома и душу путника.

Проезжая мимо шляхетного кадетского корпуса (дом Меньшикова, теперь Павловское военное училище), он снял шляпу и перекрестился; здесь прошло его учение и отсюда, из кадетов, два года назад, он был послан в заграничную армию. На углу одной из дальних линий и набережной Невы он завидел почернелый забор и ветхую крышу домика, с давних пор принадлежавшего вдове лейб-кампанца Настасье Бавыкиной.

Сердце путника сжалось. Сюда по праздничным дням, бездомный, круглый сирота, столько лет сряду, хаживал он из корпуса в гости. Здесь приветная и твердая нравом, бездетная и сердобольная старуха, Настасья Филатовна, прозванием «царицына сказочница», ласкала его, и в нем, бедном кадете, находила утешение в своем одиночестве и сиротстве. Дом ее был в ту зиму, как знал из ее писем офицер, продан за долги, и его хозяйка переехала куда-то на квартиру, не успев ему сообщить нового своего адреса. Офицер остановился у знакомых ворот.

– Вам кого? – спросил его какой-то мещанин, сидевший под навесом соседнего крыльца.

Офицер назвал Бавыкину.

– Рухнул древний, крепкий столб, – сказал мещанин, – и она, властная, сократилась: из домохозяйки жилицей стала… Приходят, знать, последни времена.

– Да куда ж она переехала? Где живет?

– У звездочета какого-то, ученого… Уела ныне нас всех эта анафема – дороговизна… Приступу ни к чему нетути, хоть ложись да помирай… На погорелых, слышно, местах, на Мойке, каменный дом чей-то против Съезжей, а Филатовна во дворе, внизу, в деревянном фатеру снимает – там вывеска портного… Спроси звездочета – всяк тебе там покажет…

Офицер поехал к Синему мосту, а оттуда вправо, берегом Мойки, и остановился против места, где теперь, у пешеходного мостика, помещаются здания Почтамта. Здесь на пустынный и низменный, без набережной и ограды, берег Мойки выходил кирпичный, одноэтаж-

ный, похожий на фабрику дом, с высокой трубой. На заборе была вывеска портного. За каменным зданием, в глубине двора, высился обветшалыми стенами другой дом, деревянный, в два яруса, с красною голландскою черепичною крышей. Снизу в верхнюю половину этого дома вела открытая, с площадкой, лестница, навесом для которой служили ветви высокой, в несколько обхватов березы, росшей на дворе у крыльца и, без всякого сомнения, видевшей еще шведов и Первого Петра. Влево, за вторым домом, выглядывал безлистый, обсыпанный снегом сад.

Смеркалось, когда голубая, цвета васильков, тогдашняя общеармейская шинель путника показалась во дворе, где теперь жила Бавыкина. Чуть не потеряв на крыльце истрепанной ветром, с трех углов подвернутой, поярковой шляпы, офицер с тощим чемоданом под мышкой быстро вошел в нижние сени. Он сунул в угол чемодан, шагнул в полуосвещенную комнату направо, оттуда в какую-то «боковушку» налево и, растерявшись, остановился у новой двери. За нею была опять перегородка. В щель этой двери пробивался свет.

«Верно, тут, – подумал гость, оглядываясь и переводя дыхание, – вот удивится!»

– Настасья Филатовна, здравствуйте! – сказал он, постучавшись в дверь.

– Никакой Настасьи Филатовны здесь нетути-с! – отозвался недовольный суровый голос из-за перегородки. – Дессиянс-академии академик тут живет… извините…

«Что же это значит?» – подумал озадаченный гость.

– Академии-дессиянс академик здесь, бог мой! – добавил нетерпеливо голос. – А к жилице, благоволите, из прихожей налево… но ее нет дома.

Офицер поблагодарил, хотел идти.

– Вы же, извините, кто? – послышалось за дверью. – Как сказать, коли возвратится?

– Заграничной армии курьер, генеральс-адъютант прусского губернатора Панина, – ответил офицер.

За перегородкой послышался торопливый шорох. Дверь отворилась. На ее пороге, в халате, показался высокого роста, лет за пятьдесят, плечистый и плотный человек с умным, усталым, в красивых морщинах, лицом, с недоумевающими, добрыми глазами, лысый и с крупными жилистыми руками, из которых в одной была табакерка, в другой перо.

– Из армии? Что вы сказали?.. Из Пруссии?..

– Точно так-с… Нарвского пехотного полка подпоручик, ордонанс Панина, курьером с бумагами.

– Знакомец моей жилицы?

– Так точно-с!

Кроткая, ласковая улыбка осветила строгое лицо академика.

– Слышал о вас, слышал… Нежданный гость – тем приятнее. Она и не подозревает. Сколько о вас гадано, толковано. Милости прошу, зайдите пока ко мне…

– Какие же новости? Утешьте, сударь, подарите, – продолжал хозяин, – бьем немцев? Не правда ли? Крошим ферфлюхтеров?..

– Бить-то били, да теперь отступаем и скоро, надо полагать, вовсе вернемся. О перемирии заговорили.

– Что?.. Отступаем? Перемирие? Да кто ж его предложил?

– С нашей, знать, было стороны.

Табакерка и перо академика полетели на стол.

– Как? Мы? О мире? Да вы шутите? – вскрикнул дебелый, широкий в кости, академик, дрожащими руками оправляя на плечах потертый серый китайчатый халат. – Ах, дерзость! Ах, наглость и стыд! Батюшки! После стольких-то побед!.. Голубчик, молодой вы человек, с дороги озябли… устали… садитесь… Лизхен! Лизавета Андреевна! Леночка! Чаю, самоварчик ему… умываться скорее…

– Bitte, bitte, gleich![1] – отозвался женский голос из соседней комнаты.

– Извините, – поклонился офицер, – ваша жилица, Настасья Филатовна, мне старая благодетельница…

– Знаю, не обидится… Мы с ней почасту толкуем… архива всяких преданий!..

– Где ж она?

– К вечерне, должно, ушла. Переждите: вот, пожалуйте сюда, в комнату моей дочушки, Леночки; но осторожней. Тут у меня, как у крота, переходов да всяких клеток. Каменный дом под фабрику мною строен; а этот с садом уцелел от пожара, – в старину еще, другими наложен. Внизу у нас жильцы и женино хозяйство; наверху ж мой рабочий кабинет, инструменты, электрические батареи, подзорные трубы, реторты да колбы…

В комнату, куда академик ввел гостя, вбежала с полотенцем и со свечой улыбающаяся девочка лет тринадцати, тоненькая, белокурая, в локонах, голубыми глазами и улыбкой похожая на отца. За ней, с тазом и кувшином воды, повторяя снова: «Bitte, bitte», вошла еще красивая, полная, в белом фартуке, чепце и с засученными по локти рукавами, жена хозяина. Все они и самые комнаты, теплые, уютные, казались офицеру такими добрыми, ласковыми.

– Вот вам, голубчик вы мой, мыло и вода! – сказал академик, когда дамы ушли. – Делайте свой туалет без церемоний: а я – простите за любопытство – еще кое о чем вас расспрошу… Так, перемирие? Ах, они окаянные, слепцы…

– Панин хочет поправить дело и прислал рапорт: жалко, армия стремится к бою.

– И что ж? Есть надежда поправить дело?

– Бог весть, как посудят; союзников нынче, сказывают, у Пруссии немало и здесь.

– Рвань поросячья! Каины! Черти особые, их же и крест российский не берет! – шагая по горенке, сердито вскрикнул академик. – Иродовы души! Травка гнусная, фуфарка!..

Он закашлялся и, поборая волнение, остановился у стемневшего окна.

– Бес шел сеять на болото всякие плевелы и дрянь, – сказал он, не оглядываясь, – да и просыпал нечаянно это зелье – фуфарку; ну, из него и родился весь немецкий синклит: сам старый лукавец Фриц, его генерал Гильзен и Циттен, а с ними и наши доморослые колбасники – Бироны, Тауберты, Винцгеймы и вся братия… И их еще не ругать? Вздор! – обернулся и махнул кулаком академик. – Я их ругаю за нелюбовь к кормящей их России, позорно, в глаза, самою сугубою и их же пакостною немецкою бранью. Говорю ж с ними в конференции не иначе, как по-латыни. Не выносит их бунтующая против такой напасти с такого бесстыдства душа.

– Но их сила, господин академик! – произнес офицер. – Не лучше ли иметь с ними волчий зуб да лисий хвост?

– Один волчий зуб, без всякого хвоста! – более и более раздражаясь, крикнул академик. – Не церемонюсь я с несытыми в алчной злобе проходимцами и потому у них не в авантаже… Таков, сударь, моей натуры чин и склад!.. Ах, дерзость! Ах, нескончаемая лютость, поправшая всякий естества закон… Так это правда? Успела голубица мира, успел Гудович доставить масличную ветку в Берлин? Боже-Господи! Уж-ли ж побежденному королю вверять судьбы российской исконной политики? Да этого, друг мой, Россия с ордынских баскаков не видывала…

– Жил я между немцами, – сказал офицер, – извините, хоть и враги наши, а у них хорошо: порядок, науки.

– Да нас-то они ненавидят, не признают. Бить бы тамошних до конца, здешние бы присмирели!.. Ни одобрения к возрастанию родных наук, ни чести по рангу, ни внимания к каторжному, в здешнем крае, ученому труду! Я мозаику, сударь, я стеклянный завод завел, а они – конюхов да сапожников креатуры – жалованье мне завалящими книжками из академи-

[1] Пожалуйста, пожалуйста, сейчас! *(нем.)*.

ческой лавки платили. Я открытия делал, оды писал, а с меня, когда я жил в казенном доме, деньги за две убогих горенки высчитывали. Истомили меня, истерзали кляузами… Поневоле другой стал бы пригинаться, слабеть, как иные – не хочу их называть – Лазаря знатным барам петь, на задних лапках за подачкой стоять… Да не буду стоять! не буду подличать!.. Друзья у меня не по знатности – по гению и по усердству наук… И душа моя, сударь, плебейская, поморская… Воспитал ее в соловецких беломорских зыбях студеный, надполярный океан… Оттого-то ветер соленый, морской ходит в ней, бушует почасту…

«Вот человек, открытая, смелая душа!» – подумал офицер, с горячим, почтительным сочувствием глядя на матерого плебея-академика, с распахнутою, могучею грудью, шагавшего перед ним в стареньком китайчатом халате.

– Ох, извините, – сказал тот, остановясь, – вы привезли зело печальные, волнующие вести; не удержишься. А потому, – вдруг добавил он, понижая голос и как-то детски робко оглядываясь на дверь, – если вы в сей момент, как военный походный человек, готовы и расположены, то померекайте тут с вашею старою приятелькой, а через час, через два, за калиткой будет стоять договоренная мной городовая коляска… Дома, в горницах, беседовать по душе тесновато… Я ж проболел и давно не выезжал. Так мы с вами, сударь, коль согласно поедем в герберг к Иберкампфу; сыграем на бильярде, разопьем бутылочку и потолкуем обо всем на свободе…

– Не по рангу мне, господин академик… притом же дорога… мои финансы…

– Полно, полно, друг. Давно я, говорю, соблюдал лечебный дигет, ну, и пост; а сегодня вот кстати и жалованье из конференции прислали… Поедем; там, государь мой, устерсы фленские, анкерки токайские, бургонское и особый, скажу вам, новоманерный пунш…

Дверь распахнулась.

– Какой пунш? Кто пунш? – вскинув руками, произнесла на пороге полная, седая, но еще румяная и бодрая, в темной душегрее и в такой же кичке, с калитой и ключами у пояса, шестидесятилетняя старуха. Это и была свет-матушка, древний, властный столб, Настасья Филатовна.

Она взглянула на офицера, отступила.

– Вася, ой, да стой же… что это?.. Василек, голубчик ты мой! – вскрикнула и повисла на шее гостя старуха.

Смуглые, обветренные щеки офицера дрогнули. Он горячо припал к Филатовне, с радостными слезами безмолвно обнимавшей нежданного гостя.

– Ох, милый, вот так утешил, – сказала она, – одначе, стой… Так и есть, не стыдно ли? Не село, не пало, а уж и за компанство, за пунш… Да и вы, ваше высокородие, – хоть и хозяин мой… Стыдно! Вот я супружнице вашей все отлепортую.

– Долг гостеприимства, сударыня, – ответил, глядя на офицера, академик.

– Гостеприимства! А ты? – ласково обратилась к гостю, по уходе хозяина, старуха. – Ну-ка, испиватель пуншей, кадет, рассмотрю, каков ты нынче стал.

Бавыкина обвела его свечой.

– Сердечный мой, радостный! Едва тебя спознала! Вот она, походная-то доля, как возмужал! Ну, ангел мой Васенька, пойдем же в мою конуру, – не своя теперь, чужая…

Они прошли в сени, за которыми Бавыкина снимала две комнаты.

– Вася! Соколик мой! – сказала, припав опять к гостю, старуха. – Повидала я тебя, а не чаяла более… Не такою ты оставил вдову сударя Анисима Поликарпыча… Дуб оголелый ныне я… облетели все листочки, ветром ошарпало их, сдуло… Не в этакой узкости и тесноте суждено было век доживать. Ах! И где-то, Вася, те счастливые да шумные старые годы?

Вдова Анисима Поликарпыча – кто не знал общей печальницы и утешницы? – самой государыне Елисавете Петровне угодила, бессонные ночи ей грешным рабьим языком коротала. Сильно скучала иной раз ласковая царица, и хаживали ее утешать из предместьев да

с базаров бабы-цокотухи, умелые, бедовые на язык. Хаживала и лейб-кампанша Настасья. Сидит, бывало, ее величество в кофте да платочке поверх русых, пудреных волос и спрашивает гостью:

– Отчего ты, Филатовна, темна будто становишься?

– Старею, матушка, запустила себя, ласковая; прежде пачкалась белилами, брови марала, румянилась… Ныне все бросила…

– Румяниться не надо, – говорит царица, – а брови марай… Ну, сядь же, соври про разбойников или про какие иные дела.

– Казни, всевластная, не в мочь; вся душенька во мне трепехчется…

– Отчего ж она у тебя трепехчется? – смеется государыня.

– Как иду к тебе, милостивая, будто на исповедь, а вышла, точно у причастия была…

И припадет Настасья к постели царицы, ножки, юпочку ее целует, до утра ей тараторит.

– В чем счастье, Филатовна?

– В силе, матушка государыня, в знатности да в деньгах. По деньгам и молебны служат.

– А горе в чем?

– Без денег, всемилостивая.

– Да ты, нешто, ведьма, жадна?

– Жадна, ох, жадна и все, пресветлая, что пожалуешь, возьму… Деньга – ох! – она ведь и попа купит, и Бога обманет…

Весело царице.

– Вот, было в старые годы… – начнет Филатовна и говорит про все, что видела и слышала на свете, на долгом веку.

Фавориты ее побаивались, и сам канцлер Бестужев, в праздники, посылал ей подарки – муки, меду, пудовых белуг и осетров. И хоть недолго Филатовна пожила за вдовцом, сержантом лейб-кампании, зато всласть, в полную волю. Анисим Поликарпыч нередко загуливал и буянил, но уважал Настю и тоже побаивался, а по смерти отказал ей дом на Острову у Невы. Падчерицу она пристроила за повара графа Разумовского, но вскоре ее схоронила и осталась круглой сиротой. Зато кто ее не знал? Совет ли дать, навестить ли в горе, похлопотать ли за кого – ее было дело. Не только светские, духовные ее уважали… Церкви Андрея поп взял ее к себе кумой. Дом, хозяйство Филатовны славились в околотке. Сама она стряпала, окна и полы мыла, без очков на старости лет шила бисером, золотом, копала огород и доила коров. И не раз сама государыня Елисавета Петровна лично удостаивала ее заездом к ней – малины тарелку откушать, прямо с кустов, либо выпить из холодильни стакан свежего, неснятого молока. И деньги водились у Филатовны. Они-то ее и погубили. Отдавала она их тайком богатеньким господам в рост. Но попутал бес. Одна знакомка дала совет. Погналась Бавыкина за большим барышом, ссудила немалый куш известному гвардейскому моту и всю казну потеряла. Хотела извернуться молчком; поплакала, погоревала и заложила свой участок банкиру Фюреру, но не выдержала срочных платежей, и дом ее со двором были проданы в начале той зимы с молотка.

Таков-то безлистый, оголелый на ветру дуб стоял теперь перед залетным гостем.

– Ну, да что тут, садись, соколик, – сказала Бавыкина офицеру.

Они сели.

– Не те времена, Вася; все ушло, все улетело, как почила наша пресветлая благодетельница… Что сберегла добра, рухлядишки, все перевезла сюда… Остальное – разобрали люди.

– Ничего! Даст бог, поправитесь; вот я приехал – подумаем…

– Поздно, друг сердечный, поправляться да думать. Другим, видно, черед настал. Вот, к грекёне к одной в никанорши зовут, за хозяйством глядеть; приходится внаймы на старости лет… Все прахом пошло… А я мыслила о тебе, тебе сберегала… Ну, да вой, не вой, на то и велика рыба, чтоб мелких-то живьем глотать… Поведай лучше о себе.

Офицер вздохнул. Речь не слушалась. Два года разлуки немало унесли молодых ожиданий, веры в счастье, надежд.

– В карты, Вася, по-былому, извини, играешь? – спросила, взглянув на него, старуха. – Да ты не сердись: дело говорю.

– Что вы, помилуйте, – ответил гость, – жалованье какое! А тут, сами знаете, походы, контужен был, – до того ли?.. Притом…

Офицер хотел еще что-то сказать; слова ускользали с языка. По лицу прошло облако. Глаза смотрели рассеянно, куда-то далеко. У губ обозначилась сердитая, угрюмая складка.

Бавыкина покачала головой.

– Ужли и там не забыл? – спросила она.

– Вот пустяки, охота вам…

– Да ты, вьюн, не финти; говори, в резонт спрашиваю.

Офицер встал, оправил волосы. Точно отгоняя тяжелую мысль, он провел рукой по лицу, подумал и снова молча присел к столу.

«Так, так, из-за нее, – мыслила тем временем старуха, – из-за Поликсены ты и приехал, чуть смог вырваться оттоль… Знаю тебя! От гордости молчишь – а сам бы кинулся, готов просить: голубушка, родная, здорова ли она, жива ль?»

Офицер, сгорбившись, молчал. Филатовна не выдержала.

– Не закусишь ли с дороги? Молочка, сбитню не согреть ли?

Гость отказался.

«Ну, бог с ним, сердечным, усталость, знать, одолела».

Старуха постлала ему постель в собственной спальне, дала ему огарок свечи, а расспрос о сердечных его делах отложила до другого раза: «всяк божий день не без завтрашнего».

Офицер разделся, достал из чемодана святцы и образок, поставил его в углу на столе, раскрыл святцы, рассеянным взором прочел несколько страниц, перевел глаза к темному окну и долго молился, кладя земные поклоны и прося у Бога нового терпения и новых сил.

«Родина, дорогая родина! – мыслил он. – Вот она наконец, и я опять среди нее… Храм Соломна!.. Далеко, кажется, до него… На чем-то они теперь стоят, чего держатся? Осветил ли их хоть малость свет истинной жизни, свет разума и вышней братской любви? Или все тот же этот край, хмурный, неприветный, запустелый и веющий холодом?..»

– Что? Лег спать? – перегодя, спросил Бавыкину, встретясь с нею в общих сенях, академик.

– Спит, – нехотя ответила Филатовна, – еще бы! Намаялся сердечный: столько дён сломя голову скакал. А вам, сударь, что до него?

– Да я так, новостей он привез, и любопытство расспросить.

– Ну, только, уж извините, это завтра…

– А как бишь, не упомнил, фамилия этого вашего гостя?

– Родом малороссиянец, и имя ему Василий Яковлевич Мирович… Сызмальства… Да что! Спокойной ночи, сударь… Только опять же советую, хоть вы и хозяин, – не держите долго огня… Все-то у вас бумаги да книжки… пожар еще, упаси господи, не напроворили б… и то вот на погорелом дворище построились…

«Ишь козырь, доброобычайная старица, как распекает! – улыбнулся академик, с потупленной головой вновь пробираясь в свои горницы. – Да оно и лучше! И здоровью легче. Вот печень намедни как было опять разгулялась! И дел, по правде, не оберешься. Мозаику кончать, о метеорах писать… Баста!.. Скудель тесная – существа предел!.. Прощай, былые годы!.. Mens sana in corpore sano»[2].

[2] В здоровом теле здоровый дух*(лат.)*.

– Настасья Филатовна, кто, скажите, ваш хозяин? – спросил Мирович из спальни, уже впотьмах. – Я и забыл осведомиться.

– И этот тоже! Да что с вами поделалось?.. Точно сговорились! Пара он тебе, что ли? Коллежский советник – почитай, бригадир… Спать пора! Индо напугал.

Василий Яковлевич Мирович крепко заснул. Мир давно забытых картин охватил его. Ему грезились давние, детские и отроческие годы, угрюмая Сибирь, потом украинский тихий хутор, старый заповедный лес и пчелы, бедность и горести некогда богатой и знатной, потом гонимой судьбою, разоренной обедневшей семьи.

II. Прошлое Мировича

Предок Мировича во время казни гетмана Остраницы был в Варшаве, с другими пленными казацкими сотниками, прибит гвоздями к осмоленным доскам и сожжен медленным огнем.

Его прадед, Иван Мирович, переяславский полковник, был бешеной храбрости человек. Гетман Мазепа выдал за него, вторым браком, выписанную из Польши свою сестру, Янелю. Разгромив татар у Перекопа и Очакова, Иван Мирович возил в Москву пленников и пушки и, возвратясь оттуда со щедрыми подарками, начал строить каменный переяславский Покровский собор, но вскоре скончался. Здесь, по его заказу, на большом запрестольном образе, весьма схоже, был изображен Петр I, возле него гетман Мазепа и духовенство, поодаль придворные дамы, народ и казацкое войско, а над всеми, в облаках, покров эллинской Божьей Матери. У этой еще не оконченной церкви, по преданию, гетман Мазепа, поскользнувшись, упал с конем.

– Не к добру, – сказал народ и вспомнил это после Полтавского боя.

Сын Ивана от первого брака, Федор Мирович, был генеральным есаулом Орлика. Посланный вельможным дядей-гетманом в Польшу, под команду Паткуля, завзятый рубака, Федор Мирович не вынес «муштры» немца, бившего казаков палками, и возвратился с данным ему полком в Украйну. Мазепа отплатил племяннику. В 1706 г. огромные силы шведов осадили Мировича в Ляховичах. Мазепа, сославшись на половодье, не доставил ему помощи. Брошенный своими, теснимый врагом, полковник Федор Мирович сдался с отрядом и был увезен в цепях в Стокгольм. Церковь в Переяславле, заложенную его отцом, достроила впоследствии его жена, племянница гетмана Самойловича, Пелагея Захаровна, урожденная Голубина. Освободившись из плена, Федор Мирович жил некоторое время в Турции, потом в Варшаве у Вишневецкого, где и умер. За сношения Федора Иваныча с угнетенной родиной Петр I сослал его жену и сыновей в Сибирь и отобрал в казну имения не только виноватого перед ним Федора Мировича, но и ни в чем неповинной его жены.

Юных сыновей Федора Иваныча государь спустя некоторое время помиловал. Мировичей отпустили из Сибири в Чернигов, к их дяде, знаменитому Павлу Полуботку, который в 1723 году отвез их в Петербург и поместил, для прохождения наук, в академическую гимназию. Здесь они были недолго. Полуботок кончил жизнь в крепости, племянники остались без средств и от бедности бросили науку. Старший из них, Петр, получил место секретаря при дворе великой княжны Елисаветы Петровны; младшего, Якова, взял к себе из милости польский посланник, граф Потоцкий, с которым тот побывал и в Польше. Но было вскоре перехвачено письмо Петра Мировича в Варшаву к отцу, с копией указа о Полуботке и с известием о притеснениях малороссийского народа. Братьев опять арестовали и перевезли в Москву, потом в 1732 году снова выслали, под видом боярских детей, в Сибирь, где Петр Мирович дослужился до места управителя заводской Исетской конторы, а впоследствии даже был назначен воеводой Енисейской провинции.

Во время коронации Елисаветы в Москве бывший еще недавно певчий цесаревны, Алешка, теперь же всесильный и вельможный граф Алексей Григорьевич Разумовский, напомнил императрице о судьбе своих забытых земляков, Мировичей. Государыня лично в сенате, в 1742 году, объявила именной указ, которым обоим братьям Мировичам, после вторичной десятилетней ссылки в Сибирь, даровалось прощение и предоставлялось служить, где они захотят. Они пожелали докончить век на покое, на родине, куда, после некоторого пребывания в Москве, и переехали.

Старая «Мировичка», мать Петра и Якова Федорычей, Пелагея Захаровна, была отпущена из Сибири в Малороссию двумя годами позже сыновей. Тщетно она подавала из

ссылки и из Малороссии прошения царицам Анне и Елисавете, умоляя их о возвращении ей если не мужниных, то хотя бы части ее собственных приданных и благоприобретенных имений. На все ее прошения были получены отказы. Некогда вельможная пани есаульша, родня по мужу Полуботкам, Мокиевским, Забелло и Ломиковским и жена гетманского племянника, Пелагея Захаровна умерла по возвращении на родину в бедности. Богатая и знатная, также ограбленная ее родня не туда смотрела, сыновья пособлять не могли, а что получала она от немногих старых друзей, употребляла на доделки не оконченного свекром и мужем собора.

Отставной енисейский воевода, Петр Федорыч Мирович, был нрава буйного, заносчивого и дикого. В Сибири он, между прочим, был одно время под следствием за то, что в качестве управителя Енисейской провинции явился в воеводскую канцелярию в халате и в колпаке и там перед зерцалом обругал первостатейных купцов самыми непотребными словами. Следователи, впрочем, его оправдали. Возвратясь из Сибири в Москву, а потом на родину, он не укротил своего нрава. Будучи беден и горд и доживая век где-то в глухом местечке, на небольшом пособии от какого-то соседнего магната, он никому не уступал и умер от запоя, изрубив перед кончиной полицейского офицера за то, что тот перед ним не снял шляпы.

Брат Петра, Яков Мирович, был нрава кроткого и тихого, притом с детства слабый здоровьем. Наука ему плохо далась. Петербурга, где он некоторое время был в академической гимназии, как и нахождения у Потоцкого, он почти не помнил. Во время первой ссылки, в Тобольске, он обучался в школе у некоего «несчастливца» Сильвестровича, который хорошо играл на скрипице, но по-русски почти не говорил. Женившись на небогатой купеческой дочке Акишевой, во время пребывания в Москве, Яков Федорыч, при жизни матери и брата, кое-как еще содержал семью. По смерти же их он впал в окончательную нищету, овдовел, огрубел и, одичав от бедности, уж мало чем отличался от любого простолюдина-батрака: ходил в сермяге и в дегтярных сапогах и нанимался у соседей-помещиков то в ключники, то в объездные, торговал некоторое время водкой, гонял на продажу гурты скота, а состарившись и не видя себе ни в чем удачи и успеха, сел у хуторянина – кума Данилы Майстрюка, в лесу на пасеке, глядеть пчел. Кум Данило держал от какого-то графа на аренде клочок той самой земли, которая была отнята у отца Мировича.

– Тут и умру! – сказал себе Яков Федорыч, сидя у старого омшаника, в заповедной, медвяной яворщине кума. – Сложу здесь кости! Земля все-таки наша…

– А сын? А дочери? – спрашивал себя старик.

У Якова Федорыча Мировича от рано умершей и такой же, как он, плохой здоровьем жены остались четверо детей: три дочери, Прасковья, Аграфена и Александра, и сын Василий. Дочек разобрали по рукам добрые люди. Мальчик подрастал при отце.

Зимой Вася учился на хуторе у дьячка, летом помогал отцу у пчел, носил ему в лес обедать и ужинать, плел корзинки, строгал бабам ложки и веретена, играл на дудке и торбане. Кто-то забросил в реку серого щенка; Вася с плачем кинулся, чуть не утонул, но успел его спасти и вырастил.

Раз услыхал отец, как его десятилетний Василь в церкви поет и читает Апостола, и задумался.

«Нет, ему жить не в лесу, не на селе! – сказал себе Яков Федорыч. – Другим удается – попытаюсь и я о нем! Все же он дворянской крови… Предки знатные были и не под тыном валялись… А царица Лизавета Петровна до Украйны милостей своих еще не замуровала в стену…»

Думал он долго и решился наконец устроить судьбу сына.

Это случилось восемь лет назад, а именно в 1754 году.

Был жаркий летний день.

Из Малороссии в Петербург, на паре волов и на простом мужицком возу, приехал путник – высокий, костлявый, лет за пятьдесят. Он был в долгополой черной свите и в серой

барашковой шапке. Сам сед, а черные глаза, как угли, светились из-под насупленных бровей. На возу у него сидел мальчик, лет тринадцати с небольшим. У воза шла серая лохматая собака. Ехали они проселками, продовольствовали волов на подножном корму, сами питались сухарями. Отправились из дому в середине апреля, прибыли в Петербург в начале июня. В дороге, следовательно, находились почти два месяца. То были Яков Федорыч Мирович и его сын Василий.

Остановились они на отдых на обширном, поросшем густою зеленою травой, Адмиралтейском лугу (нынешняя Исаакиевская площадь с новым садом). Выпрягли волов, умылись в Неве, Богу помолились и закусили. Мальчик, болтая босыми ногами в реке, приметил под бастионами крепости (на месте нынешнего Адмиралтейского бульвара) стадо пасшихся на траве придворных коров и подогнал к ним своих круторогих. Старик вынул из-за пазухи бумагу, долго думал над ней, сунул ее опять на место и, с кнутом в руке, пошел кого-то отыскивать по Невской першпективе.

Мальчик тем временем вышел с собакой на площадь и стал разглядывать город. Все его занимало: красота и обширность зданий, пушки на бастионах, шум уличной езды и суета рабочих, с криками и песнями выгружавших в то время с канала, у нынешней разводной дворцовой площадки, последний камень, кирпич, громадные бревна и доски для постройки тогда заложенного Растреллием нынешнего Зимнего дворца. Залюбовался мальчик и золотыми, ярко горевшими на солнце, шпицами Адмиралтейства, Петропавловского собора и прежней Исаакиевской церкви, стоявшей близ того места, где теперь памятник Петру. Обернулся мальчик назад; перед ним, в бесконечную даль, тянулась, вся в яркой зелени густых, в четыре ряда, высоких лип, Невская першпектива. А по ней шли нарядные господа, скакали верхом военные, мчались цугом раззолоченные кареты.

Яков Федорыч, со словами: «А будьте ласковы, скажите, где тут?» – снимал шапку чуть не перед каждым прохожим. Все дивились на него, на его речь, одежду и на почернелое от зноя, с седыми усами, лицо. Прохожие пожимали плечами и шли далее. Горожанам было не до него; да украинца редко кто и понимал.

Понял и выслушал Якова Федорыча случайно встреченный им у тогдашнего деревянного Аничкова моста некий важный и с виду гордый человек. С двойным подбородком и объемистым животом, этот господин, отдуваясь и еле передвигая ноги, шел в вощанковой зеленой шляпе, в голубом камзоле и в красных башмаках.

День был душный. Незнакомец, несмотря на свой наряд, нес с живейного рынка, бывшего за мостом, на Литейной, в одной руке – пук зелени, а в другой – пару перевернутых вверх ногами живых каплунов. Мирович с поклонами передал и ему, в чем дело. Пузан оказался его земляком.

– Так тебе, землячок, графа Разумовского? – сказал он, поморщившись и крякнув.

– Его ж, его ж… Розума нашего и кормильца!..

– Квартирует он в самом царском дворце, а с месяц, за переделками там, вот где проживает! – гордо ткнул пучком зелени важный господин, указывая, через поросший травой берег Фонтанки, на жестяные куполы Аничкова дворца. – То будет его хижина… Царица ему подаровала… Что, хорошо?

– Фить-фить! – засвистал удивленно старый Мирович. – А вы ж, ваше сиятельство, чем будете? И как вас титуловать?

– Кофи-шёнком у графа! – еще важнее пыхнул сквозь зубы толстяк. – И я тебе, землячок, подозволь, так и быть, в чем нужно, помогу…

– Как же это кофи-шенк? В каком будет ранге?

– А то же, почитай, что гоф-диннер, – пускал пыли в глаза толстяк, – мало чем меньше тафельдекера, а то и больше того…

Мирович снял шапку и уж ее не надевал.

Земляк привел его к Аничкову саду, занимавшему в то время все место, где теперь площадь с Александринским театром, памятником Екатерины и Публичной библиотекой. Они обогнули этот сад со стороны Гостиного Двора и от заводей Фонтанки и Чернышовских прудов, бывших на месте нынешних министерств народного просвещения и внутренних дел, подошли к небольшой садовой калитке. Вожатый, на расставанье, дал Мировичу несколько наставлений и обещал, если понадобится, пристроить его на квартире.

– Вот, малый, крыльцо, – указал он в калитку на один из летних павильонов дворца, – ступай прямо туда… Из прихожей будет тебе, братец, светличка – в ней граф завел теперь принимать просителей… Там, коли не опоздал сегодня, и дожидайся…

Мирович, тенистыми, пахучими аллеями, прошел к указанному павильону, заглянул в прихожую – ни души; заглянул в приемную – тоже никого; постоял у порога, раза два кашлянул и, как был, в черной свите и смазанных дегтем сапогах, поджав ноги, присел на голубую, штофную, с золотыми точеными ножками софу.

Долго он дожидался. Никто не приходил и не подавал голоса. Прием, очевидно, кончился. Но, раз попав так легко к высокому графу, о котором он, как о благодетеле своей семьи, столько наслышался и про которого такая слава и такой говор стояли на родине, – Мирович решился, во что бы то ни стало, ждать.

«А как выгонят?.. Ну, дворянина, пожалуй, и не посмеют…»

В комнате было еще жарче, чем на дворе.

Мухи то и дело садились на потное, обросшее за дорогу, лицо украинца. Мирович то дремал от усталости, то, с досадой и бранью отмахиваясь от мух, ловил их на лету и давил. Одна особенно назойливо и долго приставала к нему. Он ее согнал с шеи – она укусила его за щеку и пересела ему на колено.

Стиснув зубы, он прицелился на нее, хлопнул по ноге, но промахнулся: муха увильнула, посновала по комнате и опустилась на большую японскую вазу. Задремал в тишине Мирович.

Солнечные лучи, врываясь сквозь ветви тихо трепетавших лип, яркими, извилистыми просветами играли по паркету, бронзе и зеркалам. Муха опять села на щеку Мировича, жужжа и путаясь в усах, укусила его и вновь улетела на вазу.

– А, каторжная! – проворчал Мирович. – Постой же! Шкода! Теперь не уйдешь!

Он встал и тихо, на цыпочках, начал подкрадываться к обидчице; изловчился, размахнулся, но муха снова мимо, а ваза с громом рухнула с поставца и разлетелась вдребезги.

Резная лаковая дверка отворилась в углу комнаты. За нею показалась пола бархатного вишневого халата, звезда на лацкане и румяное, удивленное, а вместе смеющееся лицо: густые черные брови, карие, с поволокой и краснинкой, глаза и вздрагивавшие от позывов к смеху, крупные и влажные, добрые губы…

– А що, земляче, пиймав? – раздался голос пышущего здоровьем, сорокалетнего вельможи, узнавшего в госте земляка.

Яков Федорыч упал перед ним на колени. Граф Алексей Григорьевич Разумовский милостиво ободрил растерявшегося просителя, ласково ввел его в свой кабинет, усадил в кресло и стал расспрашивать, кто он и как сюда попал?

– Знаю, знаю, сердце… Но неужто на волах? – спросил, удивленно подняв брови, Разумовский. – Не шутишь? Так-таки, голубе сизый, на воликах, да еще, может, и на серых?..

– На сирых, ваша графская светлость, на сирых…

– И погоныча, хлопчика, верно взял?

– Сына… подросточка…

– Давай же его, голубоньку, сюда, может, и песни играет? Где он?

– На лугу, у нового дворца, скотину с собакою пасет.

– Как? Где?..

Мирович объяснил. Граф окончательно покатился со смеху…

– Вот так придумал! – бархатным певучим горлом выводил Разумовский. – Кто ж тебя ко мне направил?

Мирович рассказал о своей встрече с кофи-шенком графа, который и на квартире, у тещи своей, обещал его пристроить.

– Какой кофи-шенк? И что ты, диду, городишь? – опять зашевелил поднятыми бровями граф. – Земляк? И толстый? А!.. Так вот оно кто… Юрченко Абрашка! Ну, назвался же, собачий сын, каким титулом… А он у меня за подручного в поварне на людской… Кофишенком же, друже, у меня француз Бриошь, и такая, скажу тебе, шельма искусная да гордая, что Абрашку еще за вихры отдубасит, как узнает о его самозванстве… Так, так, он самый и есть! И у его тещи, Бавыкинши, свой дом на Острову… И отлично…

Разумовский позвонил.

– Езжай же ты, сердце, к ней, – сказал он, – а завтра в эту же пору – или нет, постой, – лучше к вечеру, – будь ты опять у меня, да непременно с сыном и на волах… Тогда и о деле твоем потолкуем. А теперь некогда – еду во дворец.

За стеной послышалась суета. Поспешно вошел разодетый в золотую ливрею слуга, за ним – другой.

– Торох, торох, посыпался горох!.. Эка, пентюхи… Вы спите там, – сказал Разумовский, – а тут, чтоб черт так и эдак побил вашего батька, добрый человек дожидается… Позвать повара Абрашку.

Вошел Абрам. Мирович глазам своим не верил: куда делась важность мнимого кофишенка, – и живот осунулся, и куда-то в камзол спрятался двойной, вспотевший подбородок.

– Не пьян сегодня? – спросил, строго хмуря брови, граф. – Ну, и отлично! Редко с вами, архибестии, бывает… Так вот же что… Бери ты, Абрашка, вот сего сизого голубя к своей теще на постой, да береги его, слышишь, пуще глазу… Угости там, успокой и покажи ему и его хлопцу столицу… А это ему пока на расход.

Граф бросил повару кошелек.

На другой день государыня Елисавета Петровна пила у графа, в Аничковом саду, вечерний чай. Прибыла она из Летнего дворца, где теперь Инженерный замок, на катере с гребцами и с роговою музыкою. Катер въехал из Фонтанки прямо в пруд, бывший тогда среди Аничкова двора.

Государыне в саду графом были представлены Яков Федорыч и его сын Василий. Мальчик играл императрице на торбане, пел «Горлицу», «Гриця», плясал «трепака» и декламировал хвалебный, в честь царицы сложенный в то время киевскими бурсаками, кант. Государыня прослезилась. Но спустя недели три, когда ей от сената доставили справку о том, за что ее покойный родитель отобрал в казну имения Мировичей, она не нашла возможным исполнить просьбу Якова Федорыча.

– Чудасия, мосыпане, да и полно! – воскликнул, топорща брови, не успевший в своей протекции Разумовский. – Не все, братику, по-нашему! – Пивень каже куд-кудак, а курочка – не так! Но дело твое, не унывай, еще выгорит… Докажи, чуешь, что в отобранных у вас поместьях были родовые, собственные маетности твоей матери. А без того – чтоб им болячка – не можно… убей бог, не можно… Посуди… сенат в твою пользу не доложит… Сказано: москали! Лыком вязано, в лыках ходит, под лыком спит… Видишь, сердце, какие у них прицепки да щупы на три аршина, собаки, под землей щупают. Нельзя… финанции, казенный интерес!..

Слезы прошибли Мировича. Он не ожидал отказа и неуспеха, когда добился свидания не только с графом, но и с царицей, подбирал, что бы еще сказать, и не находил слов.

– А о хлопчике твоем, о сыне, и не думай! – сказал тронутый его горем граф. – Государыня, до его великовозрастия, возьмет его под свою опеку и милость. И такой-сякой я буду, слышишь, коли вру! Наплюй тогда в глаза… Завтра же велит его записать в кадеты, в шляхетный здешний корпус, – бо он у тебя, братику, все-таки дворянин, нельзя! Э! Того нельзя!.. Да еще вон какой до черта письменный… стихи важно дует – и дискант преизрядный… Без камертона, сразу верхние ноты, собачий сын, берет… «Горлицу», «Не ходи, Грицю» как отчекрыжил!.. Херувимскую московскую тоже вон знатно спел, без ошибок; да, полагаю, и по придворному, концертному, скоро насобачится… А волов своего кума, сердце, знаешь, лучше оставь тут – продай их хоть и мне… Славные волы! И жалко их, диду, опять гнать бес его знает и куда… Я бы, слышишь, послал их на дачу тут свою, в Гостилицы… У меня, сердце, там дворец; а какие луга! Нехай бы ходили, шановались да радовались по паше… Гей, гей, родина, хуторы наши, раздолье… Эхма! А впрочем, как знаешь. Брат Кирило в Батурин новоманерную мебель посылает себе на днях в гетманский дворец… Так и ты бы, может, поехал с его хлопцами…

Яков Федорыч поблагодарил, но, пристроив сына в корпус, поехал с лохматым Серком домой на волах.

По возвращении на родину старик протянул недолго: простудился осенью на пасеке и умер. Об этом написали молодому Мировичу сестры, жившие по людям в Москве. Зять Бавыкиной, Юрченко, потеряв от преждевременных родов жену, запил с горя на графской кухне и также в том году скончался.

Настасья Филатовна, на своем сиротстве, незаметно и крепко привязалась к Васе Мировичу; брала неуклюжего и на первых порах медведеобразного, а потом резвого и шустрого, миловидного кадетика к себе по праздникам, ласкала его, журила и нянчила, как родного. Из кадетика вышел вскоре кадет, из тощего заморыша-мальчонки – рослый и полный здоровья юноша, который не знал, куда деть вытянувшиеся руки и ноги; не по дням, а, казалось, по часам, так и выпирало его из казенного узкого кафтанишки.

– И куда ты это, Васенька, лезешь в гору, так растешь? – говорила старуха. – Ин скоро, уж, пожалуй, и рукой не досягну до твоего вихра!

Сперва Вася лазил во дворе у Настасьи Филатовны по крышам, по яблоням и березам, гонял голубей, в свайку да в бабки играл с уличными мальчишками. Ссадины не сходили у Васи с носа, синяки с висков. Филатовна то и дело чинила его камзольчики и штанишки, штопала ему чулки. Но вот Вася окончательно вытянулся и остепенился. Сухощавый, скулистый, плечистый, будто увалень, а в черных глазенках так и бегают огоньки. Ландшафты рисует красками и миниатюрой, хитрые виньеты к нотам Разумовскому чертит и ему носит. Ходит с книжкой по саду Бавыкиной, вслух читает какие-то стихи; говорит, что твердит роль для кадетского театра. Зеленый ученический кафтан на нем чист, русая коса в завитках и припомажена; шляпа на три угла, как с иголочки, белые манжеты и чулки отнюдь не примараны. Ему исполнилось восемнадцать лет. В корпусе он был уже шестой год.

– Кто же вас там ахтерству этому обучает? – спрашивала его Филатовна.

– Сам Александр Петрович, сам господин Сумароков! – отвечал Вася Мирович. – И мы играли намедни, на домашнем нашем театре, его комедию «Чудовищи», а вскорости при дворе, в собственных внутренних апартаментах государыни, будем играть его же тражеди «Гамлета»… Ах! Какие стихи, какие!

…Люблю Офелию, но сердце благородно
Быть должно праведно, хоть пленно, хоть свободно…

Сердце кадета Мировича, на самом деле, вскоре было пленно. Он нашел свою Офелию и сразу влюбился в нее страстно, без ума, о чем признался товарищу, уроженцу Харьковского наместничества.

Случилось это в 1759 году, незадолго до выпуска старшего курса из корпуса. В Петербурге и в окрестных дачах вельмож, по случаю приезда принца Карла Саксонского, шли непрерывные празднества и торжества – с качелями, каруселями, катаньем с гор, рыбными ловлями, стрельбой в цель и театрами.

В Гостилицах, на даче Разумовского, давали переведенную с французского пьесу: «Пастух и прегордая пастушка». Кадет старшего курса Мирович, кончивший геометрию и фортификацию с атакой и изучавший в том году у корпусного ученого адъютанта Флюга гражданскую юриспруденцию, натуральное право и немецкий штиль, играл роль пастуха. Роль пастушки исполняла одна из хорошеньких и веселых камер-медхен императрицы Елисаветы, Поликсена Ивановна Пчёлкина, – не помнящий родства подкидыш. Свою фамилию она получила вследствие того, что государыня, встретив в коридорах дворца кудрявую, с серыми глазками, с золотистыми волосами, девочку, остановилась и сказала:

– Вот распевает, жужжит, точно пчелка…

С той поры она и осталась Пчёлкиной.

Влюбленный в неприступную и гордую пастушку на сцене пастух-Мирович поймал ее врасплох за кулисами, обнял за талию, и страстно припадая к ее розовым, с ямочками, набеленным и облепленным мушками щекам, нежно прошептал из своей роли:

Когда ж бедняжку пастуха —
Когда полюбишь ты, пастушка?..

Пчёлкина вырвалась от него, оправила смятые блонды и ленты и, сделав вздыхателю реверанс, с насмешливой важностью ответила также стихами разыгранной пасторали:

Когда ты будешь богачом,
Вельможей, а не пастухом, —
Чтоб не в убогой жить нам хате,
А в раззолоченной палате…

Тень всякого спокойствия с той поры покинула влюбленного кадета. Гражданская юриспруденция, немецкий штиль и натуральное право Флюга была заброшены. Их заменили бессонные ночи, вздохи, писание страстных и нежных мадригалов, а в промежутках, с горя, – попойки с городскими кутилами и карты.

– Хохленок сдурел! – говорили товарищи.

И точно: Мирович стал раздражителен, мрачен, ушел в глубь себя. Бавыкина собиралась не раз вызвать на голову завертевшегося своего любимца громы и молнии со стороны Разумовского. Но всесильный граф давно забыл и думать о юноше, который когда-то пел кант и плясал «журавля» в его саду, хотя при встречах с ним обыкновенно шутил:

– Виньеты славно чертишь, и херувимов, и гербы… А постой, одначе, постой! Хочешь, куконочка, варенников? И когда на волах до дому?

Днем, повидав украдкой Пчёлкину, Мирович вписывал в свой дневник стансы к милой.

Лишен любовных разговоров,
Я вижу тень твою с собой…
И, ах! Твоих не зрю хоть взоров,
Но мысль всегда, везде с тобой…

Вечером, в корпусном дортуаре или в душном служительском чулане, он резался с богатыми из товарищей в ля-муш и в фараон. Жажда выиграть, разбогатеть тянула его к себе, и он, к собственному удивлению, выигрывал. Сперва серебро, а потом и золото завелись у кадета. Нередко полные карманы рублевиков таскал он к Настасье Филатовне.

– Откуда берешь, пострел? – допрашивала она.

– Спрячьте, голубушка, спрячьте бережнее, а то опять спущу!.. – отвечал он. – Это для Поленьки! Все ей… Как выйду в офицеры, посватаюсь и женюсь…

Молва о счастливой игре Мировича дошла и до начальника корпуса, богатого и знатного князя Юсупова. Строгий распорядитель и любимец вверенных ему питомцев, он тоже был страстный игрок.

– А играешь ли в рокамболь? – спросил его однажды князь.

Мирович в это время готовился к окончанию экзаменов.

– Во что угод но-с…

– И в вист-руаяль?

– И в вист…

– Почем робер?

– Хоть по десять рублев.

– Вот как! А в пикет знаешь?

– Знаю.

– Ну, приходи ко мне: завтра Сретенье, праздник, – сыграем во что-нибудь…

Мирович за два дня перед тем виделся с Поликсеной у знакомой Настасьи Филатовны, у поручицы Птицыной, и все время после встречи с обожаемой, неприступной красавицей был как в чаду. Он усердно помолился об успешной игре, даже обещал поставить свечку у Исаакия, если выиграет, и, вопреки советам товарища-харьковца, пошел на квартиру к Юсупову.

– Ну, сядем в бириби, – сказал вельможный начальник, кладя карты на стол. – Огурчики, огурцы, пошли в дело молодцы!.. Так ли? Ну-ка, сивая, пойдем в поход!.. Деньги есть?

Кадет показал дукаты. Юсупов поставил возле себя ларец. Они стали играть.

«Мать Пресвятая, Владычица Казанская, помоги! – думал Мирович. – Что, если выиграю у него не то что сотню, полтысячи, тысячу рублев?.. Он богач, в игре, слышно, зарывается, неотходчив… Тогда… О! Тогда Поленька моя…»

И он действительно стал выигрывать.

Когда стемнело и подали свечи, серебро, а потом и золото из ларца Юсупова наполовину перешли в шляпу кадета. Руки князя дрожали, брови удивленно шевелились, старческое, апоплексически красное лицо покрылось белыми пятнами. Он не переставал сыпать любимыми поговорками.

– И начала она сомневаться!.. И начала! – возглашал он, судорожно хлопая картой по карте. – Ура, сивая, не отставай!.. Окунулся по уши, валяй и по маковку туда ж…

Ларец Юсупова опустел.

– Эй, вина! Венгерского! Выпьем, брат! – забывшись, крикнул начальник. – Что-то душно…

– Не пью-с! – пролепетал бледный, взволнованный успехом Мирович.

– Вздор, приложимся! У меня, брат, старое…

Подали бутылки и рюмки. Князь выпил, налил и партнеру, выпил и еще; труня над своей неудачей, распахнул окно в оранжерею, а дверь запер на ключ, достал из пузатого, выложенного бронзой бюро горсть кораллов и несколько ювелирных вещиц и начал удваивать ставки.

– А вы, Сашки-канашки мои, куда дели подтяжки мои? – шутил он, щелкая картами по столу.

К полночи Юсупов выбился из сил и откинулся на спинку кресла. Все вынутое было вновь проиграно. Глаза князя лихорадочно сверкали, на углах губ проступила пена.

– Ты маг, кудесник! – прохрипел он, в охмелении глядя на кадета и срывая с горла обшитый пуан-дешпанами платок. – Не вывезла, сивая, усомнилася!.. Отстала?.. Уходи теперь, братец, как есть, будто не играл… Иначе, – прибавил вдруг Юсупов, – я тебя за карточную игру под суд…

Мирович помертвел.

– Ваше сиятельство, князь! Вы шутите? – проговорил он, заикаясь.

– Не шучу, не шучу… Иди подобру-поздорову… Не то я тебя, каналья, выпровожу… нечисто, знать, играешь…

– Как смеете! – вскрикнул, вскакивая, Мирович. – Вы забылись… Такие слова природному дворянину… Мои предки не меньше ваших вельможами были…

На Мировиче не стало лица. Руки и подбородок его дрожали. Он как пьяный шатался, стоя через стол в угрожающем положении против князя. Глаза его застилало пеленой.

– Вон, молокосос, вон! – закричал Юсупов, также поднимаясь с кресла и толстыми прыгающими пальцами загребая снова в ларец лежавшие на столе деньги, кораллы и ювелирные вещицы. – Я тебя, сударь, только пытал!.. Аль не догадался? Вижу ноне, какова ты птица… Юсупова, брат, князя не проведешь…

Свет окончательно померк в глазах Мировича.

Он опрокинул стол с картами и с вином, рванулся к князю, выбил у него ларец и ухватил его за руки. Борьба между сильным, тучным стариком и ловким дерзким юношей началась отчаянная. Огромный парик князя слетел под софу, часы были обронены в схватке и растоптаны под ногами, рубаха и манжеты изорваны в клочки. Сильно досталось и кадету. С отхваченным лацканом кафтана, лопнувшим по швам камзолом и с развитой косой он в рукопашном бою нечаянно дал выскользнуть сопевшему в его объятиях князю, получил от него меткий удар чем-то тяжелым в голову, но изловчился, опять поймал его за камином в углу и, с криком: «Молись! Теперь тебе, изверг, капут!» – тонкими пальцами изо всех сил ухватил его за жирное горло.

Мирович задушил бы князя Юсупова, но из прихожей к кабинету, на возгласы их и возню, сбежались слуги.

В двери стали стучать. Мирович опомнился, выпустил князя. Юсупов, задыхаясь, молча указал ему окно в теплицу, оттуда был особый выход в сад. Тот медлил. Князь, злобно хрипя и потирая горло, отвесил ему низкий поклон. Мирович схватил шляпу и выскочил.

Юсупов пришел в себя. Не отворяя двери, он крикнул, что никого не звал и чтоб его оставили в покое, привел в порядок свою одежду, мебель и вещи и закрыл окно. Опустив гардины, он выпил целый графин воды, крестясь и охая, прошелся несколько раз по комнате и сел писать к фавориту государыни, Ивану Иванычу Шувалову, длинное письмо.

Через неделю после этого казуса кадет Мирович за леность, а также за продерзостное и кутежное поведение, не кончив курса, был отослан солдатом в пехоту, в заграничную армию, где в два года дослужился до подпоручика.

Юсупова разбил паралич. После долговременного управления кадетским корпусом он был уволен от этой должности и вскоре скончался. Он словесно перед смертью пожелал выслать за границу исключенному кадету крупную сумму денег. Но ближние его посмотрели на это, как на излишнюю поблажку, и приказа его не исполнили.

III. Петербург времен Петра Третьего

Крепко спалось с заграничной дороги Мировичу у Настасьи Филатовны, да и было так тихо в теплой, уютной горенке. Городской езды по берегу Мойки в том месте почти не было слышно. Бавыкина и в церкви побывала, и на рынок сходила, и кончила в кухне обеденную стряпню.

«Вот заспался, сердечный», – рассуждала она.

Разбудили Мировича неразлучные канарейки хозяйки. Они так весело растрещались на солнце, что он проснулся, открыл глаза, но не сразу пришел в себя, глядел по комнате, припоминал…

Вот старый, почернелый, дубовый комод Филатовны, березовый, со стеклами, посудный поставец. В комоде лежали когда-то его кадетские рубашонки, тетрадки, потертые в беготне чулки. А из поставца всегда так пахло корицей, имбирем, и лежали там, ждали его к праздникам пряники, орехи, шептала. На стене – поясной портрет, красками, покойного Бавыкина. Сударь Анисим Поликарпыч, в кафтане, шитом золотом, и в лейб-кампанской, с перьями, шапке, гордо и важно глядит из рамы и будто повторяет слова манифеста Елисаветы Петровны: «А особливо и наипаче лейбгвардии нашей шквадрона по прошению престол наш восприять мы соизволили».

Мирович не застал уже Бавыкина в живых. Но власть и мочь покойника еще признавались памятью знавших его. Один из трехсот гренадеров, возведших Елисавету на трон, во дни загула он – «подпияхом с приятелями», – бывало, поднимет такое веселье, что канцлер Бестужев, слыша из своего дома, через Неву, буйные песни и крики у его ворот, посылал цидулки к генерал-полицмейстеру о командировании пикетов для охраны спокойствия соседних улиц и домов.

– Все отдам, все тебе после смерти откажу, – говорила в оные дни Настасья Филатовна кадету Мировичу, – учись только уважать начальство, в люди выходи. Станешь в чинах, будешь знатен, анбиции своей не преклонишь, и меня до конца веку доглядишь… Оно точно: на рать сена не накосишься, на мир хлеба не насеешься. А бери, сударик, пример хотя бы с меня… Самой царице угождала, ее душеньку брехней услащала… И был за то бабе Настасье почет и привет… Девка гуляй, а дело помни… Даром, брат, ничего, даром и чирей не сядет…

Все изменилось, все прошло. Бедность видимо проглядывала теперь во всей обстановке Бавыкиной. Не оправдал ее надежды и былой ее питомец. Мировича заметили за отличие под Берлином, где он был контужен, произвели в офицеры. Но тяжело давались ему двухлетние походы, лишения всякого рода, обиды старших, измены и подкопы товарищей, и та же суровая бедность, бедность без конца. Он еще более сосредоточился, стал скрытен, завистлив, раздражителен и горд. Чужие края во многом открыли ему глаза. Он сходился там с умными людьми, в том числе с масонами, читал книги, немало перенял, сунул нос и в такие речи и дела, о которых прежде ему и не снилось. Грубость генерала Бехлешова на утреннем приеме в коллегии не выходила у него из головы.

«Скрыть хотят пропозиции Панина, – не выходило у него теперь из мыслей, – изменники! Берлинские угодники!.. Не скроют… Завтра опять пойду и добьюсь».

Мирович встал, быстро оделся и вышел на улицу. У него что-то сидело в голове. Доехав на извозчике на Литейную, он высмотрел чей-то двор, между светлиц придворных чинов, обошел его, долго глядел на окна и двери и спросил кого-то вышедшего из того двора. Ему вызвали слугу. Ответы последнего не привели ни к чему. Еще постоял Мирович перед заветным домом, еще поглядел на окна. Он черней тучи возвратился на Мойку, пробрался в горенку Филатовны и молча прилег опять на постель. Бавыкина вошла к нему с завтраком.

– Думала, спит, а уж он и по делам, – сказала она, присев против него и с любопытством его рассматривая.

Он молчал.

– Это же что у тебя? – спросила она, взглянув на истрепанную тетрадку, лежавшую на куче хлама, вынутого из чемодана.

Мирович и на это ничего не ответил. На заголовке тетрадки красивыми росчерками стояла надпись: «Храм Апрантифской». Вокруг заглавия были рисунки тушью – два столба, треугольник, отвес, молоток и другие знаки. То был масонский катехизис, ложи святого Иоанна, ученической степени (apprenti).

– Диплон, что ли, на чин? – спросила, просияв, Филатовна.

– Да… нет, бишь… артикул, – товарищи дали, – нехотя ответил Мирович.

– Служи, Василий, служи; времена тяжкие: добивайся! Пес космат – ему тепло; нам зато вот как холодно… А золотой молот, паря, он и железны ворота прокует. А почему? Потому нонешний свет, он самый, как есть, линущий… Тлёю над нами пахнет… Нынче корова, а завтра падаль…

Бавыкина вздохнула, оперлась на руку головой.

– И уж так-то плохо, так… Все махонькое в большаки, вишь, просится. Да не быть медведю стадоводником, а свинье огородником. А что прогорела, то еще не беда. Города – и те чинят, не токмо рубашки.

Мирович не отозвался. Бавыкина пристальнее взглянула на него.

– Да ты не на Литейку ли отмахал? Что смотришь? Угадала небось? Признавайся.

– Где Поленька? – спросил Мирович.

– Нешто сам не знаешь, не списывался с нею?

– Четыре месяца ни слуху про нее, молчит, на письма не отвечала, – отрывисто и грубо проговорил Мирович.

– То-то, Василий, скрытничаешь, – сказала, покачав головой, Филатовна, – а я, признаться, иной раз спрашивала. Помнила твои гонянья… Вот и сегодня… Только, брат, ни Птицын, ни Прохор Ипатьич – кучер покойной царицы, ни Шепелевых кума – дворцовая кастелянша, никто не знает. Как померла на Рождество государыня, твоя-то, веришь ли, точно в воду канула. Да и дива нет. Порядки, сам ведаешь, пошли все иные. Двор покойной царицы распустили, ослобонили – кто куда. Ну а она, известно, – голячка, сирота: где ей в здешнем-то Бавилоне болтаться. Куда-нибудь от глазырников в тихости девка и съютилася… Самому знаком ейный нрав – недотрога, гордец, и обид – этакая, подумаешь, цаца – не любит. За границу разве?.. Так нет: знали бы. Без паспорта, чай, сразу и не уедешь…

– Чудеса! – произнес Мирович. – Уж жива ли или впрямь куда уехала?

– А про то, братец, говорю тебе, не сведома! – с недовольством ответила Филатовна. – Двор, сокол ты мой, новый и порядки новые. Не то что камермедхены, гоф-енералы у нового царя и у его хозяйки – все почти переменились. А ведь твоя-то, правду сказать, человек небольшой; рассчитали, ну, ветер ее, мелкотравчату, и сдул с земли долой.

Мирович не слушал Филатовны. Та взялась за поднос, брякнула тарелками.

– А я вот что тебе скажу, – заговорила опять Филатовна. – Что твоя Поликсена? Ну, говори! Голь бесшабашная, и только. Тебе, сударь, не того нужно. Нет греха хуже бедности. Помни зарок бабы Насти – тут вся правда. Ну посуди! Ты молод, из себя красив, чин у тебя тоже вот уж офицерский, и всякая за тебя теперь, ну, писаная краля пойдет… Да вот, например, хоть бы и дочка самой Птицыной… Чем не невеста?

Повидишь, какая пава стала – выровнялась за это время, стан тебе полненький, ходит, вертит хвостом, как уточка, – а волосы, а глазищи… Да притом, Василий, дом какой на Литейной, дача на Каменном; а посмерти матери, в сходстве ейного счастья, еще и капитал. Прокормишься, ну, и меня в те поры не забудешь… Вон я последнюю холопку Гашку

из-за бедности продала енералу Гудовичу, как сюда съезжала на фатеру. Веришь, пухом да перьями ноне торгую, – продолжала, всхлипнув и утираясь, Филатовна, – скупаю по господам да перепродаю в Гостиный на подушки и пуховики… Право, подумай, голубчик, не спеши. На резвом коне свататься не пытайся; а жена, брат, не гусли, поиграв, на сук не повесишь…

Мирович в досаде и нетерпении постукивал о пол ногою. Он сидел молча, понурившись. Его божество, стройная, худенькая пастушка, с лукавым взором холодных, серых и загадочных, как у сфинкса, глаз, с ямочками и мушками на щеках и с гордо вздернутой насмешливо дрожащей губкой, не отходила от его мысленных взоров.

Филатовна озлилась. Гремя в посудном поставце, она чуть не разбила любимой чашки.

– Да чем бы вы жили? Ну отвечай! И каковы нынче цены? Да ты не крути носом, прокурат, а толком разбери: фунт чаю два с полтиной, сажень дров рубь шесть гривен… а? Да что! Слыхано ли: пуд аржаной муки двадцать шесть копеек. Светопредставление, да и все… Говядины, говядины фунт – меньше двух копеек не отдают… Как тут жить?

– Ну, как жить, про то уж не знаю, – полупрезрительно ответил, вставая, Мирович, – и пойдет ли за меня Поликсена… А подруги ее, Птицыной, прежде не примечал, да и теперь видеть не хочу… Вы спрашивали, что это вот за книжка? Мудрые в ней слова.

– Каки таки слова?

– Мир на трех основах сотворен, – продолжал гордо и как бы в раздумье Мирович, – на разуме, силе и красоте. Разум – для предприятия, сила – для приведения в действо, красота – для украшения… Жизнь наша – храм Соломонов, и каждый камень в нем да кладется без устали и ропоту… Впрочем, вы того, простите, не поймете… Но стойте, одно слово. Окажите такую милость. Сходите еще раз к кучеру Прохору Ипатьичу, к Птицыным и к Шепелёвых куме, кастелянше… Узнайте, куда от двора могли доставить Пчёлкину? Чай, не выкинули же на улицу, в придворном экипаже везли.

– Так вот тебе, высуня язык, и стану бегать за девками! – отвечала, отмахнувшись, Филатовна. – Стара, брат, стала! Пора бы и на покой… Садись разве сам да и пиши публикацию в газетах, как в старину письма к любовницам писали: сладостные, мол, гортани словеса медоточные, где вы, отзовитеся! Красоты безмерной власы! Стопы превожделенные, улыбание полезное и приятное, нрав веселый и пресветлый, ластовица моя златообразная, откликнись!.. Нет, брат, уволь, – винты развинтились, не гожусь… в ломку пора…

Филатовна, однако ж, только храбрилась. Под предлогом сношений с перинщиками она сказала, что надо после обеда сходить в Гостиный, накинула поношенный шушунчик, взяла какой-то узел, вышла за калитку и опять поплелась к лейб-кучеру, к Шепелёвых куме, кастелянше, и к Птицыным.

Возвратилась Бавыкина в сумерки. Она была сильно не в духе, хмурилась и бранилась.

– Эки концы, прости господи! Вот она, торговля… Коли не камер-фуриры Герасим Крашенинников да Василий Кириллыч Рубановский, – сказала она, бросив в угол ношу и глядя на Мировича, – так никто уж в свете и не скажет тебе, где ноне Поликсена… Они заправляли списками при похоронах государыни, им только теперь и знать, куда направила лыжи твоя Миликтриса Кирибитьевна.

Она вышла. Мирович записал в бумажник названные ею имена и засуетился над чемоданом. Заперев дверь, он принялся чистить сильно поношенный кафтан, шинель и башмаки, достал из какого-то свертка иглу, заштопал штиблеты и долго, вздыхая, возился над распоротым у подошвы башмаком, расчесал и тщательно завил косу и букли, обвязал их, для сохранности, на сон грядущий, платком, и попросил разбудить себя на заре, чтобы успеть напудриться, побриться и, отбыв утром явку к начальству, пуститься на поиски камер-фурьеров Крашенинникова и Рубановского.

– Доля проклятая, где ж ты? – ворчал он, раздеваясь. – На дне моря, в земле или выше того?

Утром Мирович из первых явился в коллегию. Там его, сверх ожидания, задержали долго. Толпились приказные, гвардейские и армейские офицеры. Из заграничного отряда в ночь прискакал новый курьер. К полудню приемная и лестница коллегии гудели от говора разномастного люда, как улей. Бряцая шпорами и дерзко волоча палаши по ногам встречных и поперечных, с наглыми казарменными ухватками, речами и громким смехом, прошли вслед за каким-то, белобрысым и куцым, голштинским бригадиром, новоиспеченные гвардейские любимцы. Между мелкосошною мундирной братией стали говорить шепотом, а потом и громче, что общие смутные предсказания сбылись: голштинцы торжествовали, и Волконскому в пограничный корпус посылалось предписание – войти в формальные переговоры о прекращении военных действий с принцем Бевернским. О «пропозициях» Панина не было и помина. На Мировича, сидевшего в углу на скамье и поджимающего заштопанную коленку и плохо зашитый башмак, теперь уж никто не обращал и внимания. Вчерашний, сердитый и надутый, как петух, генерал Бехлешов, выйдя с озабоченным и, казалось, невыспавшимся лицом в приемную, заметил его и кивком, пренебрежительно подозвал к себе. Пыхтя и разглядывая свои белые маленькие ручки, он помолчал и вдруг, поглядев на него в упор, напустился:

– Так ты – Мирович? А? А? Мирович? Ордонанс Панина?.. А отчего у тебя, сударь, кафтан старого образца? Да и галстук – папильоном, сиречь, бабочкой, не по форме повязан! Ордонансы! Баловники! – кричал, топая ножками, генерал. – Разве вам не были посланы указы о новых мундирах? А? Вольнодумством вы только занимались там, по театрам, по обёржам вертопрашили да дусёргельды делили на пирушках!.. Шалберники, роскошники, моты!..

– Не заслужил, не заслужил! – ответил, вспыхнув и сам не помня себя, Мирович. – Подобный афронт офицеру… я… вы… вы…

– Здесь столица, – сам государь – а не ордер-дебаталия!.. – крикнул еще запальчивее Бехлешов. – Ступай, сударь, да берегись… Слышь, говорю тебе, берегись! Любимчики штабные! Ордонансы! А понадобишься, за тобой пришлют.

«Ах ты ракалия! – подумал с дрожью Мирович. – Да что ж это? И за что? Только что приехал, и вдруг…»

Горло его схватили судороги. Он молча повернулся, спустился бледный с лестницы и, стиснув зубы, глотая слезы негодования, поехал домой, повторяя:

– Ну, родина! Угостила с первых же разов…

Бавыкиной он не застал дома. За нею пришли из какой-то лавки. Прождав ее час-другой, Мирович успокоился, пришел в себя. Он вспомнил об академике, осведомился о нем у прислуги и смешался.

«Так вот кто это!» – пробежало в его мыслях. Он в раздумье поднялся по наружной лестнице флигеля. Академик был в верхней, угольной комнате, выходившей в сад.

Ломоносов стоял за простым круглым столом. Солнце ярко светило в окна. Он курил небольшую пенковую трубку и, нагнувшись над картой Северного океана, чертил на ней предположенный им путь, в обход Сибири, в Китай и в Индию. Теперь он был принаряжен – в парике, без пудры, в суконном, кирпичного цвета кафтане, в чистых манжетах и белом шейном платке. В кресле у камина, с книжкой в руке, сидела белокурая Леночка. В книжку она смотрела рассеянно, украдкой следя за серым котенком, игравшим с бахромой ковра на полу.

– А, господин офицер! – сказал с улыбкой, подвигая стул, Ломоносов. – Очень рад… Садитесь, батюшка… Давеча вы меня порядком смутили. Стар становлюсь, да и болел эту

зиму, ноги остудил, на смертной постели лежал; ну и не удерживаюсь иной раз. Да и как удержаться! Я дописывал новую оду, а поговорив с вами, бросил ее в печку и, как есть, всю-то ночь не спал. Выехал сегодня в академию – ваши слова подтверждаются, – только и говору везде, что о перемирии… Соврал, видно, я, писав сгоряча на новый этот год:

Петра Великого обратно
Встречает русская страна…

– Мир! Да лучше бы кнутом меня на площади били, самого немцем сделали, чем это слышать! – произнес Ломоносов, бросая трубку на стол и закашливаясь.

Краска залила его изжелта-бледные, в суровых морщинах щеки. Желтизна проступила и в затуманенных годами, больших, строгих и вместе ласковых глазах.

– Леночка! Пивца бы нам аглицкого! – сказал он дочери. – Возьми у мамы ключи, да холодненького, из западни… Душу отвести… Пару бутылочек, не больше…

Леночка несколько раз бегала в западню.

Пиво развязало языки новых знакомцев. Ломоносов стал на карте объяснять Мировичу выгоды от придуманного им, мимо Сибири, пути в Индию.

– И все ферфлюхтеры, все немцы мешают, – сказал он, – сегодня в конференции, верите ли, чуть глотки в споре с ними не перервал… Скоп злобы! Ничего, как есть, не поделаешь с толиким препятством, с толиким избытком завистливой кривды и лжи…

– А что, Михайло Васильич, – спросил Мирович, – не уступи наш новый государь, Петр Федорыч, своему другу, решись, по мысли Панина, продолжать войну – ведь навек бы немцев мы урезонили.

Лицо Ломоносова омрачилось.

– Плохо, – сказал он, махнув рукой и подвигаясь с креслом к камину, – и не приведи бог, как плохо.

– Что же-с? Разве здоровьем слаб государь? – спросил Мирович.

Ломоносов кивнул дочери, чтоб ушла.

– Слушай, молодой человек, и суди! – начал он, помолчав. – О тебе много наслышался от своего старого друга; да и приехал ты из такой дализны… Взвесь, оцени на свежую голову, неудобства наших темных, бурливых дней и скажи, по сердцу, свое мнение. Чай, знаешь дела-то великого Петра… Что в Риме в двести лет, от первой Пунической войны до Августа, все эти Сципионы да Суллы, да Катоны сделали, то он в свою токмо жизнь, он один в России совершил. Первые преемники были куда не по нем! Хоть бы двор при царице Анне Ивановне… – как бы тебе выразиться – был на фасон немецкого, плохонького, владетельного дворика. Но и тогда русские лучшие люди всюду, в глубине-то страны, еще по-русски жили и говорили. Царица в оперу в спальном шлафроке ездила, Бироновых детей нянчила, курляндским конюхам да ловчим все правление в опеку отдала. Да ведь эти-то Бироны, Остерманы и Минихи, они все-таки были подданные русские, во имя России действовали. И повального, брат, онемечения еще у нас в те поры не было… Правительница Анна Леопольдовна – слыхал ли ты про нее и про ее тяжкую судьбу?

– Мало слышал… в школе и на службе-с было не до того… кое-что говорили…

– Ну, так скажу в краткости и о ней… Она драмы Аддисона, «Заиру» Вольтера любила декламировать и по три дня, простонравная беспечница, не чесалась… При ней зато немцы немцев ели, и нам от того было не без приятства и пользы… А покойная государыня, божество мое, Лисавет-Петровна? Ох! Что греха таить! При ней – не на твоей, разумеется, памяти – все у нас иноземным, французским стало – обычаи, нравы, моды и язык… Но все же, глубчик ты мой, хохлик, – лучшие русские люди, лучшие умы и сердца ее окружали… Умела она

их выбирать и ценить… И я, российский природный поэт и вития, я – Ломоносов – недаром, слышь ты, по сердцу, от души ее воспевал…

– Помню ваши стихи, – с чувством перебил Мирович:

Царей и царств земных отрада…

и другие о ней же:

Владеешь нами двадцать лет…

– Она смертную казнь отменила в России! – продолжал Ломоносов. – В Москве, по моей мысли, открыла университет; на родине твоей, на Украйне, в Батурине, тоже, в сходствие моего прожекта, открыла бы, если б не померла, – и свято чтила, лебедь моя белая, дела своего родителя, великого и единого в мире моего героя, Петра…

– Однако, – заметил, подумав, Мирович, – то были женщины: Екатерина, две Анны, Елисавета, и почти подряд… Бабье царство – говорили в народе. Войску надоело быть под женскою управой… Теперь у нас на троне монарх, и снова Петр…

– Петр, да не Первый! – сказал Ломоносов. – Не было и не будет такого другого. По примеру деда-то великого думает он управлять? Далеко, друг любезный! Дудки! Я сам надеялся… Оно, конечно… и Петр Второй, мальчоночек, в сенате торжественно обещал подобно Веспасьяну, править, никого не печалить… А что содеялось потом? Я неотесан, я груб, и меня, дикого помора, сударь, – за непорядочные поступки и озорничество с седою обезьяной Винцгеймом, Таубертом и с другими академическими нашими колбасниками, – под арестом при полиции держали. Но, ездив еще с отцом на рыбачьем карбасе, по северному ледяному морю, я привык бороться с злыми стихиями… Великая и грозная, сударь, природа студеного надполярного океана воспитала меня… Я просто совестен, брат, но не податлив… И ничем ты не купишь недовольства и угрюмства обиженной и бунтующей моей души… Скажу тебе, юноша, правду… У нас теперь нашествие не русских немцев, а немецких, самых сугубых и лютых… И ныне, братец, – прибавил вполголоса Ломоносов, склонясь к Мировичу, – коли не найдется у нас гения, чтоб нами побитого лукавца Фридриха водрузить в прежних умеренных пределах, то всю инфлюэнцию нашу на европейские дела у нас исторгнут. И будет наш великий канцлер, а мой давний благоприятель, Воронцов, министром – токмо не своего монарха, а того же, через нас вновь оживающего, Фридриха. Шутка ли, в военной коллегии, в конференции, где Шереметевых, Апраксиных, Бестужевых витают имена, ныне компасом всех дел являются только что прибывший из Берлина, Фридрихов посланник, Гольц, и дядюшка государев, командир его голштинцев, принц Жорж.

– А что слышно о государевой супруге, о Екатерине Алексеевне? – спросил Мирович.

– Погоди, дойду и до нее… Тяжкий грех взяла на себя покойная императрица Елисавет-Петровна… По особым важным политическим и статским резонам, она, не объявленная в браке, выписала себе в преемники, из Голштини, своего родного племянника, нынешнего государя, Петра Федоровича, когда ему исполнилось уже четырнадцать лет. Помню, как привез его из Киля во дворец теперешний здешний генерал-полицмейстер, барон Николай Андреич Корф. Грустно было смотреть на этого ласкового и, скажу, с добрым сердцем юношу. Худенький, щуплый, бледный, верой притом, от случайных обстоятельств, лютеранин… Чуточку по-французски знал, но, представь – ни слова не говорил по-русски. Такого ли ожидать было в преемники к российскому наследию великого Петра? Учение его в Голштинии совсем было заброшено. Учителя-шведы готовили его на стокгольмский престол и воспитывали, разумеется, не токмо в холодности, а даже в презрении к далеким русским варварам. И таков-то именно он явился, двадцать лет назад, в Петербург… Говорю, доб-

рый он, и к наукам не без склонностей: кое-что и в искусстве сведал: егерь Бастиян выучил его в Голштинии на скрипке играть… Но не повезло племяннику императрицы в России: чуть его доставили, бедного посетила оспа. Государыня-тетка полюбила его, жалела, сама первым русским молитвам обучила. Потом обвенчали Петра Федорыча, и взял он за себя – выбор счастливый – принцессу, разумную, обстоятельную, нравом женерозную, твердую и пылкую, сущий огонь… Ты спросил о Екатерине Алексеевне, какова?.. Да, друг мой… Вот где сила воли, вот ума палата и всяких даров и качеств приятство!.. Да что! Разве среди нахлынувшей, подобной заморской челяди, убережешь сердце свято? А Петра Федорыча окружили какими наперсниками! Из Киля ему целое войско грубейших голштинских скотин вывезли. И начали его новые друзья, Цвейдели, да Штофели, да Катцау, отклонять от разумницы, преданной жены. Ее общество он променял на компанию своих капралов, на смехи да утехи с вертухой Лопухиной, с дочкой первоначального нашего злодея, Бирона, с девицей Карр и с княжной Шаликовой… Государыня-тетка увидела все ясно, только уж было поздно. Она даже хотела выслать племянника опять за границу…

– Что вы? – спросил с удивлением Мирович. – Кого же в таком разе объявили бы наследником?

Ломоносов посмотрел на него и вздохнул.

– Есть один… был, – сказал он, будто про себя. – И судьба ему улыбалась, столько было у его колыбели ожиданий, надежд… На пурпурной бархатной подушке дитятею его народу показывали, чеканили с его портретом монету, присягали ему, манифесты именем его издавали… Прочили русских ему учителей, и меня, нижайшего еще в той поре студента, думали пригласить…

– Что ж он? Умер?

– Умер или, вернее… живой погребен!.. Царственный узник!.. И жив, и вместе мертв…

– Как жив? Какой узник? Отчего ж он не правит? И где он?

– Не спрашивай об этом, голубчик ты мой, Василий Яковлевич, – когда-нибудь в другой раз! А лучше и вовсе никогда.

Ломоносов задумался. Большие строгие его глаза еще больше затуманились. Из взволнованной далекими воспоминаниями широкой груди вырвался тревожный хрип. Общее молчание длилось несколько минут. Маятник на стене кабинета мирно тикал.

– А вот я вам, государь мой, – ответил, вдруг резко засмеявшись, Ломоносов, – я вам, для увеселения, мог бы прочесть сочиненный на меня, на Ломоносова, здешними немецкими тупицами злой и преострый пашквиль… На днях в академии на мой стол подбросили… Да очень уж много чести… Гунсвоты! Рвань поросячья!.. Это любимая моя данная им кличка… Попрекают, что я мужик и что не прочь подчас покомпанствовать… То правда… Ругайте, наглецы, слабости, страсти непреодоленны!.. Ругайте и за то, что я – против нашествия языков, а сам, смеху подобно, у немцев учился и на немке женат… Браните. Все это верно… Учился я у немцев, умней нас они, и долго еще нам не обойтись без них… Но сами-то, сами ругатели хороши ль? Потатчики ошибок и слабостей властелина! Льстецы! Подбили монарха дать вольности дворянству. И господа сенат до того обрадовались, что депутацию прислали благодарить, золотую статую в честь нового Солона хотели отлить… Дмитрий Сеченов хвалебную речь на это сказал… И я, грешный, до того всеми был увлечен, что больной оду написал. Да теперь думаю: ну, нешто барам нужны вольности? Народу, вот, друг мой, кому!.. Не твои сытые родичи, извини, – мои сермяжники в них нуждаются, по ним всуе молятся Господу Богу… Оно точно, правду ты, Василий Яковлевич, сказал, не женщина теперь на престоле. Да что, я у тебя спрашиваю, в том толку? Вы там кровь проливали, бессердечного хитроумца и льстеца Фридриха били, а тут перед его портретом на коленки в

Рамбове становились, кричали ему с винным бокалом: hoch![3] и с насмехательством, всякими шпыняньями встречали наши над немцами победы…

– Может ли это быть? – сумрачно спросил Мирович. – Не клевета ли? Это чересчур.

– Богом тебе клянусь, не шучу… Говорят новым советникам государя – нет у нас настоящего уложения; он кодексфридерицианус для России указал переводить. Бедная Екатерина Алексевна совсем нынче брошена, забыта; набитый пентюх, Лисавета Воронцова, в фаворе. Единственного сына государева, Павла, о сю пору не объявляют наследником. И стоят, сплошной стеной стоят, вокруг доброго, доверчивого, но слабого волей монарха не мудрые советники, а молодые вертопрахи, жадные чужеземцы… И уж так-то его берегут… Хотел было я, вглядевшись поближе, посатирствовать, войной пойти на эту челядь. Да ну их… Мудра пословица: негоже в крапиву… садиться…

Мирович не спускал глаз с собеседника. Он слушал и не верил своим ушам. Все, что вскользь говорилось в иностранных газетах и что на их враждебных столбцах могло казаться умышленно злою издевкой над Россией, подтверждалось устами великого ученого.

– Бог отвернулся от вашей России, – сказал Мировичу в заседании масонской ложи в Кёнигсберге один каноник, – она на распутии между Востоком и Западом, тьмой и светом, свободой и рабством… Нужны великие жертвы, нужны смелые мужи добра, иначе уйдет она в Азию… будет проклята Богом и людьми…

– О чем говорено, чур, из избы сметья не выносить! – сказал в заключение Ломоносов. – А к Иберкампфу, на Миллионную, на бильярде поиграть и распить ренского, верно уж не пойдем? Ну, ну… Настасья Филатовна не услышит. Да я, сударь, шучу. Ин и вправду, мы на огнедышащем кратере… Не праздновать, не застольные песни, видно, ныне петь. Смирение древних и пост!.. Будем трезвости слугами, будем мудры… Так, к соблазнителям ни ногой?

– Ни ногой, – ответил, задумавшись, Мирович.

– Зарок?

– Зарок…

– Руку!

Новые знакомцы ударили по рукам.

На другой день Мирович молчком пустился в поиски указанных Филатовной камер-фурьеров Крашенинникова и Рубановского. Приглядывался он к домам, к улицам и площадям Петербурга, где мелькнули годы его ученья, и весь он теперь, после чужих краев, показывался ему таким неприглядным, суровым и бедным.

Петербург в 1762 году был все тот же, в зимние месяцы – грязный, а в летние – пыльный, малоосвещенный, до крайности разбросанный и на две трети бревенчатый, чухонско-немецкий городок. Жителей в нем тогда считалось с небольшим сто тысяч. Воды его были без набережных, с навозными плотинами и деревянными мостами, ухабы зимой по улицам чуть не по пояс человека. Вместо улиц, вдоль линии Васильевского острова, шли, как в Венеции, каналы с разводными мостами на перекрестках проспектов. Кучи навоза и всякой брошенной дряни загромождали тротуары и углы перекрестков, валялись и, испуская вредные испарения, тлели на площадях. Сор, грязь и мертвечину с улиц и пустырей очищали колодники. Бездомные одичалые собаки, наводя страх на пеших и конных, бродили стаями по городу, бесились и кусали людей. От нищих, калек и всяких попрошаек не было прохода.

Покойная государыня Елисавета Петровна, в болезнях которой под конец чаще и чаще стала грезиться первая ночь ее царствования, страдала бессонницами. Она то и дело меняла свои опочивальни. В девять часов вечера никто уже не смел ездить мимо окон ее временного, деревянного Зимнего дворца, бывшего на Мойке у Полицейского моста. В девять часов смолкал весь Петербург. Раздавался по городу только бесконечный лай цепных и праздно-

[3] Ура! *(нем.)*.

шатающихся собак да оклики на стенах Адмиралтейства и крепости часовых, которых для безопасности иной раз ставили и на перекрестках. Все помнили еще недавние времена, когда петербургские улицы, из-за поджигателей, грабителей, воров и всяких непотребных людей, на ночь наглухо запирались рогатками, так как назначаемые для обхода по городу «пристойные партии фузилиров и драгун» оказывались недостаточными. Еще в присутствии государыни дело городского благоприличия шло кое-как. Во время же ее отъездов в Москву – а она там живала по полугоду и более – улицы Петербурга приходили в окончательное запустение и порастали травой. Городские австерии, где Петр I по праздникам любил чинно выпивать, среди матросов и шкиперов, чарку тминной водки, обращались в притоны буйства и дикого разгула.

В грязь по Петербургу не было прохода. Городских извозчиков состояло в то время весьма немного. Петр III завел с них сбор по два рубля в год и дал им особые кожаные ярлыки. Люди среднего сословия в те поры более ходили пешком. Богатые и знатные, особенно гвардейские офицеры, ездили в своих экипажах или верхом. Модные щеголи и щеголихи то и дело давили пешеходов. Раз они чуть не до смерти смяли фельдмаршала Миниха. Зато доставалось и барам: уличные мальчишки, на Гороховой, Луговой (то есть Морской) и даже по Невскому, несмотря на объявления полиции, пускали бумажных змеев и тем пугали и бесили резвых вельможных рысаков. Генерал-полицмейстер Корф, с скакавшими у его кареты адъютантами, не поспевал являться туда, где оказывались беспорядки. Нередко среди белого дня на рынках или у нового, оканчиваемого постройкой Зимнего дворца, между не убранных еще хибарок, избушек, шалашей и всяких сарайчиков, раздавались отчаянные крики подравшейся черни:

– Караул! Грабят! Режут!

Невская першпектива в полдень покрывалась гуляющими. Шли статские щеголи, в черных бархатных кафтанах, лосиных панталонах и ботфортах выше колен, либо в розовых и желтых, шелковых фраках, с огромными лорнетами, а когда было холодно – с куньими и соболиными муфтами. Щеголихи, с затянутыми, в виде ос, тальями, несли на головах хитро устроенные прически, на манер рыцарских замков, цветочных корзин, китайских беседок и кораблей. Но и на этой первостатейной улице не обходилось без неприятностей. У кофейной Мура или магазина мод госпожи Токе, не обращая внимания на разряженных в пух и прах прохожих, лежал, растянувшись по тротуару, избитый в кровь и с разорванными портами, мертвецки пьяный матрос. Верховой конногвардеец, с громкой бранью и с обезображенным от злобы лицом, у чьего-то дома, стегал хлыстом чужого напудренного и важного кучера за то, что тот не свернул раззолоченной, с кожаными занавесками, кареты и тем помешал ему проскакать вдогонку за какою-то умчавшейся красавицей.

В средине Великого поста, в 1762 году, прошел слух о появлении на Фонтанке, в деревне Матисовке, близ нынешней Коломны, целой шайки вооруженных грабителей. Петр III вышел из себя.

– О-го-го! Tausend Teufel![4] – сказал он Корфу. – Пора опять приняться за виселицы! Дед мой Петр знал это лучше всякого из нас… Напишу: «approbatur – Peter»[5], и кончено, – увидите… o, ja!..[6]

Виселицы, однако, не поставили. Беспорядки длились, и к ним привыкли, как к чему-то, без чего нельзя было обойтись и ужиться. На всякий уличный переполох, как на театр, в соседних домах поднимались окончины, и нарядные дамы выглядывали оттуда, следя с любопытством, из-за модных вееров, чем кончится казус.

---

[4] Тысяча чертей *(нем.)*.

[5] Утверждаю – Петр *(лат.)*.

[6] О, да! *(нем.)*.

Частные здания на Невском, со стороны Адмиралтейства, тогда начинались лишь от Полицейского моста. Отсюда, вплоть до Аничкова, по правой и левой сторонам проспекта, было немногим более десятка домов, да и то наполовину деревянных. Домовладельцы на главных улицах были большей частью иностранцы или инородцы. У разъездной площади временного Зимнего дворца, выходившего на Мойку, на Невский и Луговую, ныне Морскую, был дом купца Дюбиссона, с надписью на вывеске:

«Продажа гамбургских канареек и попугаев».

В Кирпичном переулке, наискось против нынешнего ресторана Дюссо, был дом банкира Кнутсена. На углу Гороховой и Луговой – дом красильщика Краузе; у Синего моста – вывеска шорника Матьяса Заккова. Немного далее, по Мойке, – цветочный магазин Вольфа, с надписью:

«Изрядные ананасные планты».

Еще далее, по Вознесенскому проспекту, – дома: Пильхау, Рашке, Зушке, Хабасова и Клуга. У Вознесенского моста, на берегу Глухой речки, ныне Екатерининский канал, – заведение оконного мастера Берга.

Придворные сады – Летний, Итальянского дворца на Литейной, в Екатерингофе и на цветочных променадах Царицына Луга – были открыты для публики. Но в них не пускали матросов, ливрейных лакеев, женщин с платками на головах, мужчин в сапогах, а не в башмаках, и вообще – как тогда говорили в газетах и в публикациях полиции – «подлого народа». Требовались модные и красивые одежды. По указу императрицы Елисаветы, ставили клейма на фалды господ, являвшихся ко двору в старых или вышедших из моды «несообразных кафтанах». После самой императрицы осталось пятнадцать тысяч почти новых платьев, несколько тысяч башмаков и два сундука чулок и лент. Между тем мясные, зеленные и рыбные лавки, кабаки и постоялые дворы невозбранно распространяли запах грязи и всякого сора, валявшихся в них и возле них. Утонченная Европа и дикая, неумытая Азия уживались рядом друг с другом.

Болотные лихорадки, повальные горячки, оспа, скарлатина и корь не покидали Петербурга. Врачей в то время было мало, и те брали непомерно дорого. Модные врачи, Монсий и Фузадьё, брали, не стесняясь, по пятнадцати червонцев за визит. Обучение детей сплошь было в руках невообразимых проходимцев. Некая иностранная фамилия «шляхетного и честного рода» печатала о себе в тогдашних газетах, что она «учит девиц, по понятию каждой, языкам, шитью, экономии, танцам, а притом и чтению “Ведомостей”. Другая, иноземная же особа, а именно – некоторая г-жа Ренуард (адрес: Миллионная, в доме портного Экка) публиковала, что обучает девиц языкам, арифметике, географии, истории – «а также и писать».

В казенные и домашние учителя нередко попадали забираемые по понедельникам со съезжей уличные «шататели» и «пьянчужки», замешанные иногда в дебошах, кончавшихся смертоубийством.

Благородные девицы перенимали друг у друга тайны, как затягивать получше талии, как делать реверансы и налепливать на лицо мушки. В косметических лавках продавались особые, красивые коробочки с черными мушками. При найме женской прислуги спрашивали тогда:

– На хозяйских ли румянах и белилах?

Знатные и богатые люди заботились о составлении библиотек из французских книг, в которые, впрочем, немногие из них заглядывали. Мужчины учились у мужчин, как надеть круглую вощанковую или треугольную пуховую шляпу; как открыть табакерку, оправлять на манжетах алансоны и пуандешпаны, нюхать табак и вынимать и встряхивать цветной, пропитанный духами a la Reine, фуляровый платок. Парикмахеры на Морской и на Невском завивали букли и заплетали и пудрили косы русским петиметрам, назначавшим друг другу

вечерние свидания в не вышедшем еще из моды, со времен Лестока, трактире савояра Берляра и Иберкампфа, в гербергах, погребах Гантовера, Ретса и в вольных домах, австериях Винклерши, Шмидши, Кохши и других.

Государыня Елисавета Петровна ездила запросто на вечеринки к вельможам, кутая своей муфтой и платком руки и горло провожавшему ее графу-мужу Алексею Григорьевичу Разумовскому, под письмами к которому она в шутку подписывалась: «Ваш первый дишкантист».

У постели же ее, по простоте, со времен еще ее девичества, на разостланном тюфячке, для охраны ее, спал на полу старичок, любимый ее камердинер, впоследствии генерал-аншеф Василий Иванович Чулков. Государыня, вставая иной раз ранее его, будила верного слугу, а он трепал ее по плечу, зевая и ворча:

– Ну-ну, лебедка моя! Уж ты и встала.

Друг Елисаветы, Мавра Егоровна Шувалова, урожденная Шепелева, писала к ней: «Ваша раба и дочь, и холопка и кузына», а мужа Шуваловой Алексей Разумовский, подгуляв на охоте, бил батогами.

Ко двору Елисаветы Петровны, для ловли в ее апартаментах мышей, особыми указами выписывались из Казани умелые и «пристойного вида» сибирские коты, а из-за границы мартышки «столь малые, чтобы входили в индейский кокосовый орех». Костромская помещица, Анна Ватазина, письменно предлагала государыне, коли произведут ее мужа в коллежские асессоры, поднести в дар четырех собак: Еполита, Женету, Маркиза и Жулию. В молодости Елисавета, цесаревной, писала нежные мадригалы:

Я не в своей мочи огонь утушить.
Сердцем болею, да чем пособить?

При Елисавете по улицам было видно более мирных статских. При Петре III Петербург стал наполняться разнокалиберными и дравшими нос военными.

На дворцовом плацу, чуть не ежедневно, производились шумные – с криками «виват», маршировками и всякими муштрованиями – вахтпарады. По улицам озабоченно и торопливо скакали адъютанты, сновали пешие и конные вестовые. Петровские, широкие и длинные, кафтаны гвардии и армия заменились куцыми и узкими мундирами, на манер прусских. Исконный зеленый цвет кафтанов и красный – воротников и камзолов – разрешено заменять, по произволу командиров полков, оранжевым, голубым, лиловым, канареечного цвета и всяким. Петр III ввел еще аксельбанты и эспантоны, трости у офицеров и урядников. Он же отменил ношение на вахтпарады, за капралами и унтер-офицерами, слугами их, ружей и алебард.

В начале Великого поста Петр Федорович издал повеление: всем сановникам и вельможам, носившим титулы командиров взводов, баталионов и полков, быть неотлучно на учениях, во главе своих частей. Это приказание привело всех в неописанный конфуз. Публика с изумлением увидела по улицам, марширующих по щиколку в грязи, перед своими баталионами и взводами, генерал-фельдмаршалов: графов Александра Иваныча Шувалова и изнеженного сибарита и сластуна Алексея Разумовского, дядю государя – принца Жоржа и больного одышкой, в бархатных штиблетах на опухших, подагрических ногах, князя Никиту Юрьевича Трубецкого. Гетман Разумовский даже нанял особого голштинского офицера для уроков новой муштровки. Придворные и статские чины были не менее озадачены. Парикмахера своего Брессана государь назначил в директоры фабрики гобеленей и произвел в камергеры; ямщика же, какого-то Патрикеева, в титулярные советники.

Перед Пасхой Петр III писал к своему другу королю Фридриху, что, не остерегаясь ничего и никого, он предает себя на волю Бога и в охрану своему народу и без провожатых по Петербургу ходит пешком.

IV. Дрезденша

У Вознесенского моста стоял обветшалый и огромный, с кучею амбаров, конюшен и покосившихся флигелей, деревянный, с поросшей мхом кровлей, дом царевича Леона Грузинского. Через переулок за ним был такой же старый дом камер-фурьера Рубановского. Сюда, после неудачной справки у Крашенинникова, под вечер, подошел Мирович.

Его озадачили крики и песни пьяной черни, вырывавшиеся из грязного темного кабака, на углу этого дома, рядом с вонючею рыбною лавкой. Он поднял глаза – на соседнем балконе, выходившем на проспект, были вывешены, для проветривания, какие-то шубейки, подушки и детское белье. Убитая кошка валялась среди улицы.

«Нет, Кёнигсберг не в пример лучше и чище Петербурга: там аккуратнее и такого неряшества не позволят!» – подумал Мирович, с трудом перейдя через растаявшую обширную лужу у спуска с Вознесенского моста. Он вошел к Рубановскому. Ему сказали, что Василий Кириллыч хотя и у себя, но после обеда перед всенощной почивает, а потому, если ему есть надобность, не угодно ли подождать.

Делать нечего. Стал дожидаться Мирович в кабинете. Он устал за день в ходьбе по городу и сильно проголодался. Комната, куда его ввели, была маленькая, душная. Пахло ладаном и к тому как бы пригорелым постным маслом. Со стены глядел портрет какого-то толстого, крупноносого протоиерея. В пяльцах у окна стояло неконченое женское шитье по бархату. На столе у диванчика лежало несколько тощих и серых тетрадок, в четвертку, тогдашних «С.-Петербургских ведомостей», две-три книжечки академических «Ежемесячных сочинений», колода старых игральных карт и в кожаном, закапанном воском переплете, объемистая книга «Камень веры».

«Ну-ка, что пишут о наших делах с пруссаками? – подумал Мирович. – Как ценят наши победы и что случилось нового после меня?»

Он стал просматривать «С.-Петербургские ведомости».

Новости этой газеты сильно опаздывали. В нумере от 1 марта вести из Парижа были от 1 февраля, из «Гишпании» от 18 января. Где-то была даже просто оговорка от редакции: «Иностранные газеты не бывали». О делах России с Пруссией ни слова.

«Ну, наших газетиров, – злобно усмехнулся Мирович, – немцы не будут сечь на Невском, коли когда-нибудь возьмут Петербург!»

Он начал перелистывать литературный журнал «Ежемесячные сочинения». В одной книжке было длинное рассуждение о кубовой краске, в другой – о строении погребов. В нумере за январь была статья из английского «Спектатора» «Разговор между любовью и разумом». Мирович от нечего делать стал ее перелистывать:

Разум. – Весьма бы трудно было, любезная сестрица, сойтиться нам с вами.

Любовь. – Не вижу я благоразумия в браках, сделанных только для одной корысти… Когда я возжигаю любовь, то возвышаю низкое состояние до знатности или повергаю высокое до подлости… Кто много рассуждает – тот худо любит, а кто горячо любит – тот мало рассуждает…

Мирович закрыл книгу, вздохнул и задумался. «Это верно! – утвердительно сказал он себе. – Кто горячо любит, тот не рассуждает».

На дворе между тем стало темнеть. Езда по улицам затихла. В соседней комнате чирикали стенные часы. Сверчок трещал вблизи за сундуком. Тяжелая, темная лампада теплилась в углу, у киота. Мирович взглянул на иконы.

«Я был во тьме, – подумал он, – и увидел свет… Да, я его увидел… С острием шпаги у груди, меня ввели в заседание франмасонов… И я клялся быть совершенным и справедливым. Я обновился – иной становлюсь теперь человек. Более не злиться, не проклинать. Всепрощение, вера в людей и любовь к ним, высокая любовь… Но кого я люблю более всего? Поликсену. Да где же она? Ее нет… и неужели я никогда, никогда более ее не увижу?»

За дверью, в прихожей, раздался удушливый, старческий кашель. Шлепая туфлями, в комнату вошел, в халате на мерлушках, сгорбленный, сонный, худой и с крючковатым носом старик. То был Рубановский.

– Авдиенции у государя ищете? Просьбица есть? – спросил камер-фурьер, скрипя табакеркой и из-под кустоватых бровей подозрительно щурясь на гостя.

Мирович объяснил, зачем пришел.

– Бабьи интрижки, сударь, кхе! Смехи на волокитство! – продолжал Рубановский, сердито тряся головой. – Не по нашей части… гм!.. Пустобрёшество одно! Просим извинить, кхе-кхе! Час, в он же ко всенощной добрые люди, а вы…

– Василий Кириллыч, помилуйте! – заговорил, хмурясь, Мирович. – К вам пришли, на вас только и надежда. Вам одним можно знать, куда от двора отъехала девица Пчёлкина… а вы…

– Не шаматон я гвардейский и не шаркун! и любовными дуростями, сударик, не занимаюсь, вот что-с! – свирепо набивая нос, отрезал Рубановский. – Да коли бы и знал, то б не сказал. У меня, сударь, дети, дочки… А мало ли, не в пронос слово, не в обиду сказать, ноне всяких шалбёрников, совратителей девиц?

– Но я… Василий Кириллыч, разве из таких! – возвысил голос Мирович. – И притом, как вы можете? Это, наконец, обидно… афронт…

– Да не о тебе, батюшка, не о тебе… Что вскинулся? Эк, испугал! Нечего пугать! Сами не из робких… А что до твоей сударушки, так я и посесть час несведом, где она, да – кольми паче – и знать мне, слышишь, по моему рангу, не для чего… Дорожка, сударь, скатертью дорожка! – склонив голову и сердито топчась на месте, ответил Рубановский. – Просим извинить и не осудить… да-с, не осудить…

Бешенство проняло Мировича. Иголки заходили у него в руках. Не помня себя от ряда неудач и гнева, он вышел на улицу.

«Будь не старик да не у себя в доме, – сказал он себе сжав кулаки, – я б тебе, постнику, показал!»

Голова Мировича кружилась. Горло подергивали судороги. С трудом дыша, он, как пьяный, шатаясь, прошел несколько шагов. На улице кое-где тускло зажигались фонари.

«Куда же теперь? – злобно спросил он себя. – Или идти к государеву секретарю Волкову, добиться приема и просить, за воинские мои старания и услуги, о разыскании во что бы то ни стало девицы Пчёлкиной? Ха-ха!.. Безумие! За воинские заслуги! Какие они? Разве к Разумовскому? Но он, после моей стычки с Юсуповым, совсем от меня отказался. Писал я ему с походов не одну цидулку; он и не откликнулся… Неужели ж опять за границу, в Кёнигсберг, когда армия и без того вот-вот повернет оглобли в Россию?.. Есть, кажется, выход, и простой, – да подлые, малодушные люди! Все их тянет в водоворот, в суету, – уехал бы на Украйну, к другу Якову Евстафьичу, или в Киев, выйти в отставку, на тихом хуторе поселиться, в раю…»

За спиной его послышался оклик. Его назвали по имени. Он оглянулся.

У Вознесенского моста стоял добродушный, невысокого роста, круглый, с красным, в веснушках, лицом и с манерами беспечного кутилы и щеголя, несколько навеселе, лет тридцати двух-трех, пехотный офицер. То был деливший с Мировичем часть заграничного похода, его знакомый, поручик Великолуцкого армейского полка, Аполлон Ильич Ушаков. Он месяцем раньше Мировича был прислан, по фуражным делам, из армии в Петербург,

где и остался. Племянник знаменитого Андрея Ивановича Ушакова, грозы розыскной экспедиции прежних лет, он давно промотал отцовское состояние и жил аферами, дружбой с повесами и мотами всевозможных слоев и неизменным посещением трактиров, харчевен и кофейных домов. При деньгах он был весел и смел; без денег – тряпка тряпкой.

– Какими судьбами? Вот не ожидал! – воскликнул оперившийся в Петербурге и бывший в эту минуту точно на крыльях Ушаков.

– По службе; как и ты, разумеется, с поручением! – ответил, отвернувшись от него, Мирович.

– Ну, и гут[7], хохландия; значит, запылим! Хочешь, пойдем, сокрушим по маленькой? Финансы в авантаже… Откуда в сей момент?

Мирович указал назад, за церковь.

– От Дрезденши? – спросил, не спуская с него веселых, навыкате, смеющихся глаз, Ушаков.

– От какой Дрезденши?

– Так ты Дрезденши не знаешь? Шреклих!..[8] Вот невинность, недоросль из Чухломы…

Мирович был не рад этой встрече и нетерпеливо поглядывал в ближайший переулок.

– Голоден? – спросил, будто что-то вспомнив, Ушаков. – Желаешь, кстати, и черепочек раздавить? Желаешь, так угощу и расскажу…

– Кошелек забыл, – ответил Мирович.

– Эк, дура, дура, девка Тимофевна! – насмешливо сказал обыкновенно уступавший и благоговевший перед сдержанным Мировичем Ушаков. – А еще офицер прозывается! Срам и всему воинству обида… Parole d'honneur[9]… Не масонство ли воспрещает?.. Так и я, смею доложить, с этого месяца масон, хотя и не принадлежу к вашему lata observantia… Дрезденши не знает! Пойдем же; на угощение товарища и у нас хватит казны… Вон Дрезденша!..

И он, обернувшись, подмигнул с набережной на красный фонарь особого подъезда в доме князя Леона Грузинского, неосвещенная часть окон которого глядела на Вознесенский проспект, а другая, в веселых огоньках, была обращена на берег Глухой реки (ныне Екатерининский канал).

– Дрезденша, рыцарь ты мой, она же и Фёлькнерша, это вот что! И ты сию комедиянтскую фабулу послушай! – лихо выпрямившись, сказал Ушаков, замедлясь у красного фонаря. – Жила она при покойной государыне не здесь, а подалее, в доме Белосельского-Белозерского. Не повезло только ей тогда. Спознала государыня Елисавета Петровна добронравная, что в вольный дом, в австерию к Дрезденше, множество статских и чуть не вся гвардия ездят, не только на бильярде али в кегли забавляться, но и ради чего иного. Была тут другая, Василий Яковлич, приманка: аки бы для музыки и в услужение мужеска пола посетителей, было у нее немало иноземных и здешних девиц, да все, душечка, ахтительные красавицы… На бандорах, гитарках играли, пели и плясали… Окромя же того, на вечеринки к Дрезденше, с другого хода, стали ездить, надо тебе тоже сказать, не одни мужчины, а и барыни-модницы, на свидание с мил-дружками, в тайности от своих мужей. Ну, королевич ты мой, ревнивые глаза ан видят еще подальше орлиных!.. Донесли о том государыне. А Елисавет-Петровна, сам знаешь, как любила такие явные дурости да шаматонства…

– Что ж она? – спросил Мирович.

– Отдала престрогий приказ… И вся сия потайная и противная аки бы добрым нравом торговлишка кончилась, братец ты мой, плохо, не токмо для Дрезденши, а и для других. С

[7] Хорошо *(нем.)*.

[8] Ужасно! *(нем.)*.

[9] Честное слово*(фр.)*.

нею пострадала и всем любезная Амбахарша, ее землячка, в Конюшенной, и шведская поручица Делегринша, на Литейной. Но паче всех скоп лютости упал на Дрезденшу!.. Ее выслали за границу, а всех ее соблазнительниц земфир, без жалости, отправили на прядильный двор, в Калинкину деревню. Кабинет-министр Демидов производил тогда следствие, и многие важные модники и барыни-щеголихи сильно притом поплатились. По именному повелению государыни, астронома Попова да асессора мануфактур-коллегии Ладыгина отлучили от церкви, а потом повенчали в соборной Казанской церкви, да с такими красавицами, что те молодчики и не спохватились…

– Не слыхал я про то, – сказал Мирович.

– Где тебе слышать! Ты тогда еще в бабки играл. Да не только посетители – офицеры, поставленные на часах у заключенных на прядильном дворе девиц, и те не устояли против лукавого, ударились в волокитство на карауле, захотели бандор и гитарок послушать, песенкой побаловаться, и за то подверглись также немалому афронту и несчастью… Так вот тебе, сударь, кто Дрезденша…

– Но из-за чего ж, из-за чего? – вдруг уцепился Мирович. – Не может быть, чтобы даром все это… мало ли куда вне фронта гвардия ходила и ходит… Кому какое дело?

– Правду ты сказал, Василий! Всегда справедлив и прозорлив! – приятно удивясь, ответил Ушаков. – Были и другие резоны… Искали, не хаживал ли к этим восхитительницам близкий в то время к другой особе повыше – Бутурлин… Ну, помощница Дрезденши, Лизута Черная, под кошками и покаялась…

Мирович вздрогнул.

– Под кошками?

– Да…

– Экое варварство…

Приятели помолчали.

– Но ты, Аполлон, – спросил Мирович, – ты сказал, что Дрезденша была выслана за границу?

– Да, была выслана, при покойной царице. А как только на престол взошел ныне нами владеющий государь-император, так эта Дрезденша – а за нею и другие ее землячки – вновь, и еще с большею бомбардирадой, проявились здесь, сели себе по-прежнему – и вот она первая… любуйся!

– Не пойду, – сказал Мирович. – Боже-Господи! Кошки…

– Э, полно! То было вон когда! Вздор! Пойдем. Теперь гут благороднее, вальяжнее, чище И Дрезденша состарилась, и нравы смягчились… Внизу закуски и бильярд – скажем: здравствуйте, стакашки, канашки, каково поживали, нас поминали? – а наверху, Василий, карты, бывает музыка и всякий тебе горе-отгонительный куплет увидишь…

Вздохнул голодный, раздосадованный неудачами Мирович и против желания вошел за Ушаковым в нижнее отделение ресторана Дрезденши.

Ему было не по себе. Он чуть не вслух бранился.

– Тьфу, ты, малодушие, подлость! – ворчал он и язвительно улыбался. – Что сказала бы Филатовна и как посудило бы начальство, если бы увидели меня здесь?

Первое, впрочем, что бросилось ему в глаза при входе в освещенную восковыми свечами, прокуренную кнастером и полную шума и говора, нижнюю залу, было лицо сердитого и важного генерала Бехлешова, так распекавшего его тем утром за галстух и вообще за не в порядке оказавшийся его наряд. Надутый, суровый вид генерала исчез. Он, с расстегнутым камзолом и с веселым, беспечно ухмылявшимся лицом, сидя в углу, допивал четвертый, с гданской водкой, пунш и, то и дело отирая лоб и белые, полные щеки, жадно следил за бильярдною игрой. Не успел Мирович с Ушаковым потребовать в соседнюю комнату подового, с сигом и севрюжьей головой, пирога, не успел он «раздавить» с ним по малень-

кой, а потом и по большой, – в залу вошел, за полчаса так удививший его строгим нравом, сосед Дрезденши, Рубановский. Охранитель чести девиц, усердный молитвенник и постник, вынул пенковую, с витым чубуком, трубочку, потребовал и себе здоровенный стакан пуншу и также уселся к стороне глядеть на бильярдных игроков.

«О, люди! – с тайным негодованием подумал Мирович. – Просителя считают за собаку, изречения какие-то отпускают. Сами же… А будь деньги, будь богат…»

Он, злобно передернувшись, громко рассмеялся.

– Что ты? – спросил, обведя его глазами, Ушаков.

– Так, мерзости, брат… Подлецов, ух, да как же много нынче на свете развелось. Тесно от них.

Проговорив это, Мирович опять резко, отрывисто захохотал.

– А ты знаешь настоящее средство от всяких, то есть, наваждений? – спросил Ушаков.

– Какое?

– Выпьем, Василий Яковлич, сотворим во благо еще… Или ваш Obidienz-und-Unterfugungsact[10] мешает тому? Вздор… Жизнь, милый, вот как коротка и скучна… Да и родила нас мама, что не принимает и яма… Что хмуришься? Аль подрядился на собак сено косить?.. Эй, малый, еще бутылочку рижского!

Подали пива, и опять подали. Из дальних комнат доносились звуки музыки.

– Кутят гвардейцы, – произнес Ушаков.

– Дьяволы, анафемы! – опять, точно сорвавшись, сказал Мирович.

– Да о ком ты это, расскажи? – спросил, уставясь на него, Ушаков.

Мирович вздохнул. В его черных, без блеска, сердитых глазах начинал светиться дикий, блуждающий огонек.

– Из-за чего такие несправедливости? Ну, из-за чего? – произнес он, посмотрев куда-то в воздух. – Веришь ли, фу – какая тоска!

– Какие несправедливости?

– Да как же, посуди. Ну, как мог человек, по контракту с обществом и государством, передать другим то, на что сам не имеет права, – располагать своею свободою, совестью, жизнью?

– Фю-фю! – засвистал, что-то смутно, лениво припоминая, Ушаков. – Ты это по Мартинецу? Опоздал! Не знаю, брат, этих ваших новых откровений; хоть и слышал о вашей ложе, ничего особого в ней нет… А вот в «Трех глобусах», так согласись…

– Drei Weltkugeln[11] или ложа святого Иоанна, – это все едино, глупец! – презрительно и грубо перебил Мирович. – Горе в том, что все в темноте, все смотрят врозь. А сколько силой воли одного человека можно сделать!..

– Да опять-таки ты не о том, ах, опять не туда, – ответил, не обижаясь и весело замахав руками, заметно хмелевший Ушаков. – Я бы тебе все изложил, все… все… Только, канальство, надо бы вот зайти… Ну, да, слушай… Ты вот куда взгляни, это чем пахнет? – сказал он, расставив перед собой ладони. – Слышал ты, какую силу забирают немцы? Везде, брат, ползут, везде, да не простые, самые патентованные, из Киля… Командиры полков назначены сплошь голштинцы: конного – Цобельтиш, инфантерии – Цеге-фон-Мантейфель… Крюгер, Одельрог, Кеттенбург да Вейсс, а в кавалерии – Лёвен, Лотцов, Шильд и дядюшка государев, новый генерал-фельдмаршал, принц Жорж… Имена полков тоже изменены… Нарвский твой уже не Нарвский, а Эссена; Смоленский, что в Шлиссельбурге стоит, Фулертоновым прозывается… Иного колбасника-собаку даже не выговоришь, цепляется язык… А все-таки, ну вот, что хочешь, а я государя люблю… Добряк он, веселый, откровенный и уж простота…

[10] Обет преданности *(нем.)*.

[11] Три глобуса *(нем.)*.

Видел ты его? И глаза у него такие добрые, а хохочет, заливается, точно школьник… – Одно – любит не наши поговорки… Я на вахтпараде намедни его слышал… Душа человек! Скажи, в огонь и в воду пойду за него… Да ты, Василий, может, катериновец?.. Признайся!.. Царёва жена подбирает, слыхом-слыхать, партию, да какую… И у Дрезденши, скажу по секрету, здесь иной раз собирается главный их притон. Давеча, как смеркалось, пятеро санок, должно, сюда с медвежьей травли катили. Что им делать? Кружат веселые головушки, негде удали деть!

– Катериновец! Петровец! – с дрожью в голосе, злобно воскликнул, обыкновенно сильно, мертвенно бледневший от возлияний, Мирович: – Эк разнесло их! Ха-ха! Тоже о партионных кличках толкуют… Англия, что ли, здесь или французские парламенты? Плевать я хотел на клички, плевать! Дурак! Гляди вот куда… Читал ты господина Руссо? Читал его «Contrat social»?[12] Ну, что там сказано о правах человечества? Понял теперь о правах? То-то же. И если что по правде плохо у нас, так это, что нашего брата, мелку сошку, везде нынче считают за ничто… собаками, как есть собаками… Ни нажиться, ни произойти в чины…

В это время из бильярдной комнаты раздался взрыв дружного и громкого хохота. Перекаты его через минуту возобновились.

В раскрытую дверь было видно, как молодцеватый и лихой, лет двадцати семи-восьми, в подбитом соболями кафтане, огромного роста, с римским носом и замечательно красивый артиллерист-гвардеец, обыграв старичка маркёра, с кием в одной руке и с голландской трубкой в другой, слегка перегнувшись и расставив обутые в дорожные ботфорты ноги, повторял: «Пуц-пуц-пуц», – и до слез хохотал среди комнаты. А тучный, с кривыми ногами и желтым, отекшим лицом, маркёр в пятый раз, кряхтя и охая, пролезал под бильярд и, с тупо-удивленной недовольной рожей, принимался, по уговору, пить новый стакан холодной воды. Толпа зрителей, – в том числе Рубановский и утренний генерал, – глядя с своих мест на эту картину, в неудержимом смехе вскрикивали, хватались за животы и махали руками и ногами.

Мирович, оправив на себе кафтан и прическу, с нервической дрожью сказал Ушакову:

– Низость какова, а еще гвардейцы! Расплатись, Аполлон, да дай взаймы чуточку…

И не успел Ушаков опомниться – он торопливо протиснулся сквозь толпу и подошел к артиллеристу, черты которого были ему как бы несколько знакомы.

– Любители на бильярде? – спросил он вежливо, косясь на него.

– Да-с… А вы? – удивленно и бегло окинув его глазами, произнес гвардеец.

– Ив моей манере эта игра не последняя-с!

– Так не угодно ли? – спросил, брякнув шпорами и улыбаясь, артиллерист. Его улыбка была обворожительно-добрая, женственно-беспечная.

«Эка сволочь! – холодно и злобно про себя усмехнулся Мирович. – А разрядился как!.. Да как баба и смазлив… буколькн на висках распомажены, точно прилизаны у болвана языком…»

– Оно ничего-с и с охотой, – ответил, пуще хмурясь, Мирович, – только извините, ха-ха! Вот никак не пойму… Отчего это вы играете с подлым слугой, а не с кем-либо из благородной публики?

– О! Нынче, сударь, я в превеликом амбара! – простодушно опять улыбнулся красавец гвардеец. – Никто вот – хоть тресни, а ни-ни! – не хочет со мной померяться.

– В таком разе, с моим с превеликим удовольствием! – сказал, раздражительно торопясь, Мирович.

– На деньги или тоже в шутку, на подобный уговор? – спросил, насмешливо глядя на него и на присутствовавших, гвардеец.

– Ин хоть и на уговор!

---

[12] «Общественный договор» *(фр.)*.

Игра началась.

С первых ходов Мирович, и без того бледный, еще более смутился и оробел. Дрожащей рукой наметил он кий, угловато-ухарски повел плечом и нацелился. Его шар так ловко щелкнул шар противника, что гвардеец изумленно покосился на него и замялся.

– Может быть, вы, сударь, на деньги? – спросил он. – Что даром время терять?

– А вот уж мы сперва по уговору-с… смажем вот этого, – сказал Мирович, – а потом хоть и этого… я не чинюсь… готов…

Кий опять щелкнул. За красным с громом в лузу влетел белый, за белым опять красный шар. Игра была кончена.

– Пуц, пуц, или как вы там, сударь! Ха-ха! Лезьте, значит, под бильярд, – неестественно зевнув и откидывая волосы, презрительно произнес Мирович. – А для прохлады, не в пронос слово, испейте кстати и холодной водицы…

Артиллерист прикипел на месте. Румянец залил его белые, женственно-нежные щеки. В блестящих карих, с поволокой, глазах выразилось удивление, почти детская досада и невольный стыд. Он бросил растерянный, робкий взгляд по сторонам, подумал: «Вот бестия! А уговор исполнять следует – расплачивайся!» – и ловко скинул с себя дорожный, расшитый золотом, на соболях, щегольской гвардейский кафтан.

Делать нечего, он присел, с улыбкой пролез на четвереньках под бильярдом и залпом выпил поданный хихикающим маркёром стакан воды.

– А что ж? Другую партию! – сказал он, не одеваясь. – Три дня за медведями охотились, только что с Волхова… будто промахнулась рука… Угодно ли?

– Оставь его, оставь! – шептал, дергая Мировича за рукав, красный как рак Ушаков. – Катериновец ведь это!.. Как бы он тебе не отплатил…

Мирович его не слушал. Игра возобновилась. И во второй раз молодцеватый гвардеец, в то утро посадивший на рогатину медведя, полез под бильярд и опять пил поданную ликующим маркёром воду.

Зрителей надвинулось на эту картину множество. Явились, с тоненькими кривыми сигарами и трубками, другие – военные, статские и моряки. Между ними протискался, в ермолке, в ваточном халате и в плисовых туфлях, сам царевич, старик Леон Грузинский, имевший обыкновение в таком наряде, как хозяин помещения, проводить большую часть вечеров в вольном доме Дрезденши. После новой, неудачной партии гвардеец остановился.

– Да вы заговоренный, – сказал он, отходя с Мировичем к стороне. – Попроворили как разбить… Не угодно ли в таком разе и в карты?

– Всеодолженнейший слуга! – с радостной дрожью произнес, не поднимая глаз, и надменно поклонился Мирович.

– Так пойдемте наверх, – сказал, опять облекаясь в кафтан, гвардеец.

– Только я вот товарища что-то потерял из виду! – оглянулся Мирович. – Коли проиграюсь, а счастье не вечно везет, не у кого будет взять здесь сикурсу…

– В долг поверим, – с усмешкой смерив пехотинца глазами, сказал гвардеец. – Мы по простоте, сударь, без фасонов…

– И нам, государь мой, фасоны не надобны! – с достоинством ответил Мирович. – А в долг, к слову сказать, еще не игрывали…

Внутренней, витой лестницей они взошли в верхние комнаты Дрезденши.

– И этого-то человека и как стоптал, разбил! – шептали между тем гости при проходе среди них щеголя-артиллериста и его победителя. – Все пуан-дешпаны ему перемял этим лазаньем… Слыхано ли? Первого в гвардии директора веселостей и всяких игорных затей…

– С кем имею честь? – спросил гвардеец.

Мирович назвал себя.

– А вы? – спросил последней.

– Цальмейстер гвардейской артиллерии, Григорий Григорьич Орлов, – ответил красивый офицер, концами нежных, в кольцах, пальцев оправляя букли и на груди кружева.

«Он самый и есть! Так вот это кто!» – подумал Мирович, с новой, презрительной злобой вглядываясь в пышущее здоровьем, румяное и удалое лицо Григория Орлова, которого он застал когда-то на несколько месяцев в корпусе. Орлов потребовал шампанского, бутылка которого тогда стоила рубль тридцать копеек. Они чокнулись и выпили по нескольку бокалов.

– Коли в карты, – сказал Орлов, – так пойдем дальше.

Он провел Мировича в следующие комнаты. Там увеселения – некогда потайной, а ныне явной, модной австерии – шли в полном разгаре. Играли в бириби, в ля-муш, в тогдашний банк-фараон и в «кампис», любимую игру нового государя и его голштинцев, в которой каждый получал несколько «жизней» и кто переживал, тот и выигрывал. Дым кнастера клубами стлался по комнатам, смешиваясь с дымом сигар фидибус. Из большой соседней залы явственнее доносились звуки венгерской струнной музыки, нанятой возвратившимися с медвежьей травли гвардейцами. Там шли танцы и слышались смех и веселые голоса итальянских и французских хористок придворной оперной труппы, любивших здесь делить время в обществе столичных богачей.

Сама Дрезденша, она же и Фёлькнерша, пятидесятилетняя, набеленная и плотная женщина, появлялась среди карточных столов. Подбоченясь, она останавливалась перед играющими: серыми ястребиными глазами следила за тем, кто побеждал, с возгласами «Ach, Herr Je» громко хохотала над теми, кто проигрывал, предлагала яства и пития и исчезала во внутренние комнаты всякий раз, когда выходил какой-нибудь дебош. Военные звали Дрезденшу командиршей, моряки – адмиральшей, статские – танточкой.

В одной из игральных комнат, куда, вслед за Орловым, вошел Мирович, за большим круглым столом сидел атлетического вида, девяти пудов весом, с мужиковатою повадкой и площадными французскими и русскими присловьями, лицом, впрочем, очень похожий на старшего брата – красавца Григория, – расфранченный и раздушенный Преображенский сержант, Алексей Орлов. Его окружали приехавшие с медвежьей травли другие гвардейцы. Здесь играли в фараон. По просьбе богатого товарища-однополчанина, Михаил Егорыча Баскакова, Алексей Орлов метал банк. Другие, стоя, сидя и с вынутой картой, в волнении прохаживаясь, понтировали. Оживление было общее.

– Место, Ласунский! Дай пустить ерша, – подходя и также беря карту, шепнул Григорий Орлов невысокому, расфранченному, в серебряных галунах, измайловцу.

– Не пускай его, – усмехнулся длинный, в очках и вялый с виду, другой измайловец, Николай Рославлев, – беспременно проиграется. Намедни насилу их розняли в Волочке с Несвитским и с Хитрово…

– Да я не для себя, господа, parole d’honneur, – произнес Григорий Орлов, указывая глазами на подведенного им нового понтера.

Мирович долго не решался ставить карты.

«Гвардейцы, катериновцы, – ухари, богачи, – мыслил он, замирая, – не пара… С ними свяжешься, не рад будешь. Проиграешься, на дне моря найдут; выиграешь, как бы еще не кончилось, как тогда с Юсуповым… Нет! Два года терпел, не зарывался… Великий Руссо, учитель мой! Помню твои слова… Силой воли, воли одного человека, все достигнешь… Баста, карт в руки не возьму».

У игрального стола шел оживленный, русско-французский разговор. Слышался изредка смех.

– Что же, отче многомилостивый? – уставясь в него и продолжая толстыми, жилистыми пальцами метать фарайн, пробасил исполин Алексей Орлов. – Уважьте компанию-с…

Отведайте в прусского короля счастья. Кому тереть, кому в терке быть. Либо дупеля, либо пуделя… voynos, allez vite…[13]

Кто-то из посторонних, ставя карту, прошептал:

– Была не была, отведай еще, Хавронья!

Мирович оперся рукой о стол. Лица понтеров были ему неизвестны. Перед ним лежала колода.

«Поликсена, далекая, дорогая, недобрая, выручай», – подумал он, прикрыв занятым у Ушакова червонцем пятерку, название которой начиналось одной буквой с именем Поликсены.

– О-го, свернул овце шею! Дана, – пропустил веселым басом банкомет. Озноб пробежал с головы до пят Мировича. Он удвоил ставку на той же карте. Алексей Орлов принялся опять метать и, снова вскинув на него удалыми, смеющимися глазами, сказал:

– Дана, сударушка, и эта-с.

Подошли новые игроки. Снизу явился и Рубановский.

– Молодец, молодец! – шептал теперь старик Мировичу. – Такому можно постараться… может, и найду!..

Мирович не обращал внимания на окружающих. Дух игрока воскрес в нем с прежней, давно не испытанной силой. Глаза у него помутились, ноздри расширились, дух захватывало. Забыл он и Руссо, и ложу святого Иоанна, и силу воли, и все. Загибая пароли и ставя угол на пе, он выиграл почти сряду еще несколько карт.

– Экое счастье, – анафемское, дьявольское счастье! – шептали кругом.

– Que est ca?[14]

– А шут его знает…

– Да откуда взялся?

– Григорий, что ли, привел…

– Sacre nom![15] Невзрачный, а как загребает.

– Но это случай, parbleu![16] не все же будет брать…

Мирович между тем поднял глаза к потолку. Держа колоду карт, он подумал: «Пчёлкина… Поликсена… две одинаковых буквы в начале имени и фамилии… Попробуем еще так», – вынул пятерку пик, загнул на ней все четыре угла и пустил таким образом все, что у него было выиграно. Карта снова, к общему изумлению, взяла.

– Банк сорвет! Что вы! – дернул за руку Алексея Орлова Бредихин. – Где Баскаков?

– С Машутой амурится… – ответил, указав на дверь, Хитрово.

– Mais allez done[17], – шепнул брату Алексей Орлов. – Пусть бросит амуры и выручает… какого козыря притащили!..

Гурьев и Хитрово привели Баскакова. Понтеры расступились. Кто-то сказал:

– Поздно, други; скоро станут гасить свечи. Не сбрызнуть ли поле?

Подали шампанского. Ласунский с Рославлевым и Гурьевым принялись сводить мелом счеты проигрыша, выигрыша, за карты и за вино. Посторонние зрители стали понемногу расходиться. Где-то в соседней комнате несколько человек несвязно пели:

Лен, лен молодой…

---

[13] Начнем скорее…*(фр.)*.

[14] Кто это такой? *(фр.)*.

[15] Черт возьми! *(фр.)*.

[16] Ей-богу *(фр.)*.

[17] Но иди же *(фр.)*.

Раздавалось ухарское треньканье гитары. Хлопали пробки, звенели бросаемые о-пол стаканы.

– Что ж, господа, если не хотите, если… я сам готов метать банк! – сказал Мирович, неловко суя по карманам дукаты и рубли. – Только в этом и радость… Живем в сумнительные времена… Ах, как, матушка, в Киеве хорошо… – вдруг прибавил он, ни с того ни с сего.

Его душил смех, давно не испытанная веселость подмывала, раздражала. Он начинал несвязно болтать, заметно покачиваясь. Глаза слипались. Хмель от выигрыша смешался с хмелем от вина.

Григорий Орлов переглянулся с приятелями.

– Если продолжать, так не лучше ли у меня? – сказал он. – Или доиграемся у князя Чурмантеева! У него нынче рокамболь с ужином… просил прямо с охоты…

Товарищи решили, что к князю Чурмантееву на Васильевский далеко, лучше к Орлову.

– А вы? – спросил Григорий Мировича. – Сани мои готовы, и я живу на Мойке, в доме Кнутсена, возле дворца.

– Знаю, знаю, – банкир! – а то хоть и к Чурмантееву… готов! – ответил, хватаясь за спинку стула, Мирович. – Я пехотный, значит, не богат человек… Инфантерия-с… Пехтура!.. Одначе нет, извините, господа! Не уступлю никому, ни-ни… Ах, как, матушка, то есть, в Киеве хорошо…

– А вы были в Киеве? – кто-то спросил, подойдя. – Там есть медведи?

Мирович мутными глазами молча посмотрел на него.

– Григораш, бери его! – сказал Баскаков Орлову.

– Но как бы он не учинил дебоша?

– Пустяки, бери…

Все были согласны, что жаль так бросить среди ночи храброго, охмелевшего вконец армейца, которого и фамилию как-то в суете забыли, да и его адреса теперь вряд ли можно было добиться. Гвардейцы свели Мировича на улицу, посадили в сани Григория Орлова и повезли на квартиру последнего. Но тем приключения той ночи не были кончены.

Помнил впоследствии Мирович, что, когда его подсаживали в сани, у подъезда Дрезденши какой-то сгорбленный, в камлотовой шинельке старичок протискался к нему сквозь толпу провожающих и, ежась от холода, шепнул:

– Молодчина… козырь… и все пятеркой, пятеркой!.. Умру, а найду…

Припомнил также Мирович, что по пути к квартире Орлова вся эта развеселая и шумная ватага молодых повес, гремя колокольцами, шумя и громко смеясь, заезжала еще в две какие-то австерии. В одной Мировичу услужливые весельчаки давали, для освежения, умыться и опять играли на бильярде и пили. Он при этом был безмерно весел, также пил, шутил и даже пел какую-то ухарскую, плясовую украинскую песню.

– Расходились орлята-шельмецы! – толковали окрестные горожане, слыша сквозь двойные рамы и ставни топот коней, звон гремушек, хохот и возгласы носившихся по морозным улицам знакомых забубённых гуляк.

В другой австерии, а именно, у землячки и друга Дрезденши, Амбахарши, случился казус. Там компания разгулявшихся повес нежданно наткнулась на известного и непримиримого соперника силачей Орловых, на бывшего кронштадтского коменданта Шванвича.

Каждого из Орловых порознь в борьбе Шванвич легко осиливал: двое же брали над ним верх. А потому между ними, раз навсегда, было условлено, что если где-нибудь в австерии Шванвич встретит одного из Орловых, то они должны будут немедленно уходить, оставляя в его распоряжении все вино, бильярд и красавиц. Где же Шванвич заставал двух из семьи Орловых, то сам, без дальнейшего разговора, должен был им уступать поле действий.

Повесы ворвались в австерию Амбахарши на этот раз именно в то время, когда из ее дверей вылетел во двор, вытолкнутый Шванвичем, третий из Орловых – Федор.

– Как, кому? Лаптю кланяться? Отступать, – гаркнул обескураженному брату Алексей Орлов. – Нет, Федя, дудки! Sacre nom! Вперед! – Все встали с саней.

В комнатах Амбахарши поднялся невообразимый шум. Шванвич не уступал. Одни из гостей держали сторону Орловых, другие с осипшими глотками кричали, что так нельзя, что они должны в точности исполнить уговор. Шванвич увесистою лапой сгреб опять за шиворот рослого Федора Орлова. На выручку младшего птенца двинулся громадина Алексей… Два плечистых буяна общими силами смяли противника, опрокинули его навзничь, и Алексей Орлов, с налитым кровью лицом, вытащил под мышки бледного от злости, брыкающегося моряка за дверь, и, в свой черед, столкнул его с крыльца австерии в снег.

Товарищи потребовали с Орловых при этом случае нового угощения. Опять явилось вино. У Федора Орлова оказался изорванным рукав и текла из носу кровь. Алексей растирал снегом вывихнутые пальцы. Шум, гам и смех слышались из трактира далеко. Тут были и цыгане. Неугомонные гуляки перешли в большой кегельный зал и стали там прыгать друг через друга в чехарду. Мирович возил кого-то при этом на себе верхом… Григорий Орлов, с красивой, чернобровой цыганкой Аксюшей, под хоровую песню и звуки бандур, сняв кафтан и камзол, в кумачной рубахе, размахивая платком, плясал вприсядку трепака. Гремела опять песня: «Лен, лен»…

Но когда толпа, вдоволь угостившись, двинулась к саням, Алексей Орлов, не доходя ворот, вдруг охнул и, с окровавленным лицом, упал среди двора на снег. Кто-то в то же время кинулся от крыльца бежать по улице…

– Tiens comme il l’a balafre![18] – вскрикнул Бредихин, с подоспевшими камрадами, всилу поднимая Алексея Орлова, у которого Шванвичем из засады была наискось рассечена левая щека.

Некто из толпы выхватил шпагу и с криком: «Так вот какова честь! Вот подлость! Смерть предателю!» – бросился вдогонку за убежавшим Шванвичем.

– Удержать его, удержать – всю улицу разбудит и переполошит! – раздавались у ворот голоса. Непрошенного защитника привели обратно в трактир. То был Мирович. Никто его не мог унять. Пока суетились, перевязывая рану Орлову, он, не выпуская из рук шпаги, продолжал шуметь и, с пеной у рта и скрежетом зубов крича: «Убью изменника, убью подлого труса!» – порывался к двери.

Из толпы трактирного люда, с красным от возлияний лицом, озабоченно выдвинулся плотный, в меховой епанче, господин. Заметно покачиваясь, он нагнулся к Мировичу, взял его ласково за руку и со вздохом сказал:

– Уймись, Василий Яковлевич, уймись… Видишь, и я, и ты… дали зарок, а сами…

– Balafre…[19] Зарок!.. У Чурмантеева доигрывать… умру, а найду! – бессознательно повторял про себя Мирович, уносимый по улице в санях Ломоносова.

Загоралась бледная заря. Дома, заборы и перекрестки начинали вырезываться из темной морозной мглы. Сани, скрипя, остановились на берегу Мойки. Мирович взошел, шатаясь, на лестницу второго этажа и, как был одет, в шляпе, в шинели и в башмаках, свалился на первый попавшийся диван и как убитый заснул.

[18] Ах, как он его изуродовал! *(фр.).*

[19] Изуродовал… *(фр.).*

V. След найден

Два года назад, а именно, в начале зимы 1760 года, после высылки Мировича в заграничную армию, Пчёлкина обратила на себя внимание разом нескольких придворных вздыхателей.

Поликсене тогда исполнилось восемнадцать лет. Она подросла и стала не столько пригожее, сколько миловиднее, находчивее, бойчей. Ее серые глаза, продолговатые, как у сфинкса, были так же загадочны, бесстрастны и насмешливо-холодны. Золотистые волосы, когда она их не пудрила, густыми янтарными волнами падали с ее сухой, строгой и гордо посаженной головы. Ухаживали за красивою, худенькою камермедхен государыни военные и статские.

«Пчелка златая, что ты жужжишь?» – сочинил, по слухам, именно о ней один стихотворец, и городские модники распевали под клавикорды эту песню. Первые столичные щеголи, на холостых пирушках, не раз бились об заклад, что не пройдет недели, если они только захотят, – Пчёлкина будет ими побеждена. Заклады проигрывались. Вздыхатели ошибались.

Поликсену сердили их преследования.

– Безмозглые, противные, – дрожа и бледнея, шептала она сквозь слезы. – И все потому, что я подкидыш, ни роду ни племени… По милости государыни, хорошо одета, в моду вошла и нравлюсь всем – вон целая корзина амурных цидулок на полке… И уж хоть бы ухаживали от сердца… Гнусные пустозвоны! Вертопрах этот, богач Нарышкин, следом бегает целый месяц; камергер Лоскутьев вздумал ухаживать, голштинец Цобельтиш… От уличной щеголихи к актрисе, от актрисы… Ну, и за нашей сестрой, за камеристкой, отчего не погоняться?

Часто вспоминала и обсуждала Поликсена свое прошлое – странное, не как у других, одинокое детство, бегание по лестницам, коридорам и переходам старого Зимнего дворца и первые сознательные тревоги, редкие радости, зато частые горькие слезы босоногой швейки, потом ковёрницы у статс-дамы Апраксиной и, наконец, кружевницы и камермедхен самой государыни. По случаю одного из придворных спектаклей, когда заболела какая-то актриса, ее начали учить по-французски, потом по-немецки. Она оказала большие способности. Иван Иванович Шувалов задумал определить Пчёлкину в оперный хор и поручил ее попечению тогдашней первой певицы Либеры Сакко, которая давала своей новой ученице читать драмы, комедии и повести и успела ее развить. Через нее Пчёлкина ознакомилась и с Руссо, прочла его «Эмиля» и кое-что из его философских сочинений.

Никогда не могла забыть Поликсена одного дня в своем детстве. Ее, резвую и дикую девочку, сильно побил в игре какой-то дворцовый злюка арапчонок. На ее угрозу: «Вот постой, черт лупоглазый, маменьке пожалуюсь!» – лупоглазый черт, скаля зубы и наставя черный кулак, ей ответил:

– Никакой матери у тебя, рыжутка Полька, нет и не было… да и отца не было!.. А ты, Полька, нищенка, подмётышек, сорочье дитё!

– Как подмётышек, сорочье дитё? – стала накидываться и допрашивать встречных и поперечных девочка. Ей объяснили, что действительно ее нашли в опорках какой-то шубейки, на куче сенных выгребков, под дворцовым конюшенным крыльцом. Горько заплакала Поликсена и с той поры, забиваясь в углы черного двора, все высматривала на сметье сорок: какая ей будет матерью?

Прочла однажды Поликсена французскую драму, данную ей Либерой Сакко, и чуть не сошла с ума. В драме изображалась Орлеанская Дева, избранная Провидением для совершения великого подвига. С той поры судьба Иоанны д'Арк не давала покоя Пчёлкиной. Ей грезились громкие дела, мировая слава, общая признательность. Нередко дни напролет, в гардеробной императрицы, она просиживала молча, как истукан. Ей мерещился вековечный,

дремучий дубовый лес, мхи и скалы. Войско стоит у опушки. Сверкают латы, гремит оружие. Гонимый король, Карл VII, лежит у палатки. И вот, из леса, в шлеме и с мечом, выходит светозарная девица.

– Я спасу тебя, возведу на престол, – говорит она королю. И эта девица – Поликсена… Работа валилась из ее рук. Роброны и блонды государыни долгие часы она гладила совершенно остывшим утюгом, жгла воротнички, вышивала по канве, вместо алых, синие и зеленые розы.

– Влюблена, влюблена, – шептали о ней подруги-камеристки. Явилась в Петербург знаменитая ярославская ворожея, Варварушка. Все у нее гадали. Обратилась к ней и Пчёлкина. Она пробралась к ней на Охту, с женой Ипатьича, кучера государыни, в платочке и стареньком платьице. Варварушка долго отказывалась гадать.

– Силы у меня нонче нетути, в косточки вся ушла, – говорила она. Провожатая Поликсены положила перед нею два рублевика и конец холста. Варварушка стала гадать на кофе. Кучеровой жене, страдавшей запоем, так и сказала:

– Смерть тебе не скоро; блинком подавишься, только оживешь.

Поликсене предсказала двух молодых и красивых женихов.

– Оба будут тебя вот как любить, и за одного, девка, ты бы и пошла, да не станется; не выйдешь и за другого.

– Почему? – спросила с испугом Пчёлкина.

– Через шум и через кровь.

– Что же, милостивая, – вмешалась кучерова жена, – родственники они, эти-то, кровные меж собой или просто побьются?

– Не родные, а дальние, и не побьются; только выходит через кровь и через шум, – подтвердила Варвара.

Кучерова жена приказала долго жить в ту же зиму, опившись до смерти запеканки-перцовки, на именинах кумы, и никаким блином не давилась.

«Ну, и обо мне, знать, ворожея наплела», – думала, неравнодушно вспоминая гаданье Варварушки, Пчёлкина. Она читала «Эмиля» и вместе отдавала дань веку – верила снам и гаданьям. Когда в числе вздыхателей подвернулся ей кадет Мирович, она, разглядев тогдашний скромный, простой и добродушный до глупости вид влюбленного юноши, не раз с досадой спрашивала себя: «Да неужели ж этот?» Ей льстили страстные ухаживания Мировича, его преданность. Но она гнала прочь всякую мысль о возможности остановиться выбором над ним.

«Армейский пехотный офицеришка будет – не велика находка!» – говорила она себе, охорашиваясь в пышных янтарных локонах перед зеркалом. И вот его нет, он разжалован, выслан. Пожалела его Пчёлкина, даже поплакала о его судьбе. Но прошел год – о Мировиче ни слуха. Жив ли бедный, робкий вздыхатель?

Наступила новая, особенно веселая зима. Придворные балы сменялись концертами, концерты – маскарадами. Покойная императрица любила, чтобы хорошенькие из ее свиты, не только фрейлины, даже камеристки, запросто являлись поплясать в ее присутствии на обычных куртагах.

– Пора Пчёлкину замуж отдавать, – объявила раз государыня статс-даме Аграфене Леонтьевне Апраксиной на одном из маскарадов, где Поликсена, с другими из светских девиц, в костюме нимфы, танцевала минуэт с наследником престола. – Ишь, Петр-от Федорыч как перед ней ферлакурит.

– А то и правда, матушка-государыня, – ответила Апраксина, – нукоси, летом и впрямь найдем ей жениха, а осенью, перед Филипповками, сыграем и свадьбу.

– Но у Пчёлкиной чуть ли уж не припасен суженый, да он на войне, – заметил кто-то при этом.

– Тем лучше, – сказала Елисавета Петровна, – выпишем молодца – амуры раскончить… а к той поре, чай, и войне уже не бывать.

В конце той зимы подвернулся особый случай.

Служивший в военной коллегии, женатый на богатой купеческой дочке Ульяне Пусловой, полковник Бехлешов должен был везти в чужие края, на воды в Спа, больную жену и вызывал для нее, через «Ведомости», знающую иностранные языки компаньонку. Ухаживания Петра Федоровича за Пчёлкиной не прекращались.

«Пусть проездится», – решила императрица, и стороной, через Апраксину, велела посоветовать своей камер-медхен принять приглашение Бехлешова. Пчёлкина была изумлена и вместе обрадована.

«Откуда такое счастье? – повторяла она себе. – Удаляюсь, кажись, от важного лица. Стало быть, я опасна… Вот что сулил и куда ведет жребий».

Она получила отпуск до сентября и в мае через Дрезден и Вену с Бехлешовыми уехала за границу.

Поликсена часто писала оттуда Птицыным. Все занимало ее в чужих краях: невиданные нравы и обычаи, отменные от всего того, к чему она пригляделась в России, роскошные сады и парки, чистота и красота немецких городов и деревень. Разнообразное и оживленное общество съехалось к модным целебным водам. Здесь был цвет расслабленной и изнеженной тогдашней европейской аристократии. Между больными было видно немало и раненых на войне, гремевшей невдали, в разбитой русскими войсками Пруссии.

Пчёлкина с Бехлешовой посещала курзал, с жадностью читала и переводила больной газетную болтовню и новые романы. На водах также произошло несколько романов. У какого-то лорда австрийский кирасир увез дочь; жена рейнского богатого виноторговца бежала с парижским актером. Поликсена тоже почувствовала себя неладно.

Полковник Бехлешов, привезя жену, думал пробыть в Спа не более недели и жил здесь целый месяц. Сопровождая жену и ее компаньонку в прогулках, он сперва был весьма сдержан, потом стал, как бы случайно, оказывать ту или другую услугу Пчёлкиной: с заботливой вежливостью подсаживал ее в экипаж, приносил ей с почты письма, покупал любимые лакомства, фрукты, а раз при жене подарил ей модного штофа на платье. Поликсена от подарка отказалась. Бехлешов начал искать предлога для беседы с нею наедине.

«Что бы это значило?» – думала она, теряясь в догадках, и всякий раз обрывала эти встречи. Больной стало хуже. Она разнемоглась от изменившейся погоды и несколько времени не выходила из своей комнаты.

Был теплый, влажный после недавней грозы ветер. Бехлешов встретил Поликсену в небольшом саду при своей квартире, попросил ее сесть на скамью и, после некоторого колебания, шепнул ей:

– Волшебница! Я от тебя без ума.

– Стыдитесь, полковник! – вспыхнув, сказала Поликсена. – У вас сыновья в ученье, жена так хворает, а вы… ведете себя, извините, как мальчик…

– Но, милая лапушка, – ответил Бехлешов, загородив дорогу Пчёлкиной, – я все для тебя, все…

Поликсена метнула в него молнию из серых глаз, оттолкнула селадона и молча ушла к себе наверх.

– Погоди ж ты, рыжая гордячка! Дам тебе отплату! – проворчал ей вслед взбешенный неудачей Бехлешов.

Любезничанья с Пчёлкиной толстенького, седого и короткого ростом куртизана прекратились. За чаем, обедом и за ужином он не говорил с ней почти ни слова. Жене его стало лучше, и Бехлешов начал укладываться с целью возвратиться в Петербург. Пчёлкина, чтоб смягчить разлад, собиралась просить его разузнать в коллегии о Мировиче, с которым

она переписывалась и от которого, перед выездом из России, получила кряду два нежных письма.

«Спросит, не жених ли? – думала она. – Нарочно скажу – жених… и побесится, и отстанет скорее… А чем же Мирович и не жених? – с горечью прибавила она и вздохнула. – И влюблен и верен… чего же больше?»

Сидела Поликсена как-то у себя наверху. Была ночь. Она дописывала письмо Птицыной о приключении с Бехлешовым и задумалась.

«Ведь это, пожалуй, всегда так будет, – сказала она себе. – Где ж конец? И неужели выхода нет?.. Мирович! Ну, что он такое? Да как все: добрый, незнатный, безродный, как и я; говорят, склонен к картам, мотовству… Но от мотовства и от карт можно еще исправиться, в люди выйти… Молод – остепенится… Слышно, им теперь довольны; даже за отличие повысили… Но не то, все не то… Беден, и то пустяки… Жить нечем будет – государыня поможет. Да о том ли я мечтала, того ли ждала!»

Поликсена остановилась писать. Воспоминания вновь зародились в ее голове: злой арапчонок, сорочье дитё, Иоанна д'Арк, с мечом и шлемом, у опушки дремучего дубового леса, предсказание ворожеи… кровь и шум…

Она сидела, склонясь горячим лбом на холодную, исхудалую руку. Слезы навертывались на глаза. Снизу по лестнице послышались шаги. Кто-то будто поднялся на несколько ступенек и остановился.

«Мне почудилось, – сказала себе Поликсена. – Счастье! Не дождаться мне, видно, его… А у других – вон в газетах – только и говору, что о романах, о любви… И почему мне не видать счастья? Почему к другим оно приходит, да такое щедрое – негаданное, нежданное?.. Мужья знатные, в чести…»

Она опять взялась за перо.

В раскрытое окно мезонина виднелись очертания окрестных арденских холмов и лесов, над ними – усеянное звездами, тихое июльское небо. Под окном был скалистый обрыв над ручьем. В доме давно всю улеглись, заснули. Наутро Бехлешов уезжал в Россию. Недалеко оставалось до зари.

Пчёлкина медленно протянула руку к чернильнице, обмакнула перо и стала вновь прислушиваться. Пламя свечи в тяжелом шандале будто колыхнулось. Видно, с надворья пахнуло свежим предрассветным ветерком… На ковре, за стулом, что-то шелохнулось… Поликсена подняла глаза: перед нею, расфранченный, завитый и напудренный, с пучком лилий и роз в руке, стоял кругленький, толстенький Бехлешов.

– Добрый вечер, Поликсена Ивановна, – произнес он, робко улыбаясь.

Она вскочила, взглянула на дверь.

– Здесь и снизу заперто: тш! – сказал он. – Мы одни… выслушайте меня…

– Что это значит? – спросила Поликсена. – Как смеете вы?..

Бехлешов протянул ей букет.

– Райский цветник, волшебница! – шептал он, не сходя с места. – Сна нет, страдаю, томлюсь…

– Роман! – усмехнулась Пчёлкина. – Но довольно! идите, сударь; не вас мне жаль – вашей жены…

– Королева! Зорька моя! – сказал, опускаясь перед ней на колено, Бехлешов. – Клянусь тебе, люблю… убей, только выслушай… Все бери, деньги, алмазы… Осчастливь, убежим…

Поликсена вспомнила слова ворожеи.

– Все бери – ничего не пожалею! – шептал Бехлешов, прижимая к груди букет. – Слово только скажи… Семью брошу, службу, хоть на край света с тобой… Озолочу, в кабалу отдамся: сто душ на Урале на тебя отпишу…

Поликсена сложила руки.

– Какое унижение, какой позор! – сказала она с дрожью. – Вон отсюда, слышите? Вон! – бешено топнув ногой, продолжала она, указывая на дверь. – Уходите; иначе, не гневайтесь, подниму крик, разбужу весь дом…

Бехлешов подошел к ней. Она бросилась к окну.

– Шаг сделаете, – вскрикнула она, указывая на окно, – брошусь туда… на вашей душе будет смерть…

– Стойте, стойте, – прошептал Бехлешов, – ужли на том и конец?..

Пчёлкина молчала. Негодующие серые глаза холодно и бешено смотрели на него от окна.

– Будешь меня помнить! – проговорил, уходя, Бехлешов.

Поликсена утром явилась к больной, попросила свое выслуженное жалованье, отперла сундук, взяла свой паспорт, узелок с вещами и сходила на почту. К обеду она вошла в кабинет к Бехлешову. В руках ее были книги и газеты. Полковник, сидя у раскрытого бюро, сводил счеты. При входе Пчёлкиной он слегка побледнел, но не оглянулся, будто ее не заметил.

– Ошиблись вы, Валерьян Ильич, – почтительно и сдержанно сказала Поликсена, – но более вас ошиблась я сама. Не знала я доподлинно, каковы ноне люди на свете. Теперь знаю… Гнуснее, ничтожнее иного человека – ох, ничего не найдешь…

Бехлешов упорно молчал. Лицо его слегка залила синева. Он тяжело дышал, по-прежнему не оглядываясь на говорившую.

– У вас даже совести нет, – с горькой усмешкой продолжала Поликсена, – ужли ж и впрямь нету? И все ли нынче таковы? Опозорить, погубить, раздавить бедную, нищую сироту – вам нипочем… С такою-де можно!.. Но не все сироты одинаковы… Ошибаетесь… И не всякой не помнящей родства подкидышу по плечу грязь, ничтожество и позолоченное бесчестие из-за куска хлеба. Иная, сударь, верит и в лучшую долю…

Губы Бехлешова шевельнулись. Он хотел что-то сказать и опять не отозвался.

– Вы молчите? – кончила Пчёлкина. – Горды вы, чтоб покаяться перед такой пустошью?.. Под крыльцом в выгребках ее нашли!.. Будьте вы прокляты, с вашим богатством и с вашею низкой, одного токма себя любящей душой… А это – данное вами, сударь, для чтения… Вразумили вы меня окончательно многим из этого… особенно ж вот этим: в книге я нашла к вам письмо от вашей фаворитки из России.

Поликсена бросила книги, газеты и найденное письмо на стол, медленно вышла и в тот же вечер, в почтовом омнибусе, уехала в Вену и далее в Петербург.

Осенью минувшего 1751 года императрица сильно захворала, а в декабре скончалась. Пристроить Поликсену, с Апраксиной и с Шуваловым, она не успела – ни в оперу, ни замуж. Хотя, во время болезни государыни, Пчёлкину все дворовые волокиты оставили в покое – им тогда было не до нее, – но Бехлешов не упускал ее из виду. Со смертью государыни все изменилось. Шуваловы пали. Влияние Апраксиной заменилось влиянием Лизаветы Воронцовой. К новому году Бехлешов, благодаря покровительству своего родича, Гудовича, был назначен помощником оберкригскомиссара, голштинца Цейца, и произведен в генералы. Служебное значение его в военной коллегии, а с ним и его связи повысились. Несмотря на возврат из чужих краев жены, он то посылал Пчёлкиной, через ее подруг, словесные поклоны, то письменно клялся ей в неизменной любви.

Поликсена колебалась недолго. По совету Апраксиной она сходила к Лизавете Воронцовой, просить места при супруге государя. Воронцова послала ее к своей сестре, Дашковой. Взглянув на худенькую и бедно одетую камеристку старого, ненавистного ей двора, надменная Екатерина Романовна презрительно улыбнулась и, отвернувшись, вполголоса сказала по-французски Никите Панину:

– Какая дерзость! Всякая горничная метит в наперсницы к новой государыне.

Поликсена стала белее стены, смерила взглядом Дашкову и молча удалилась.

«Сочтемся когда-нибудь», – подумала она.

Оставшись за штатом, она решилась не ждать более ничего, не просить и не ходить ни к кому, а выехать из столицы, скрыться в такую глушь, где бы и следов ее никто не мог найти. Задумав это, она выискала случай и в середине зимы 1762 года, после похорон императрицы, не простившись даже со знакомыми, наскоро собралась, написала прощальное письмо – также уезжавшей из столицы актрисе Сакко, – и, без сожаления, так быстро оставила Петербург, что ни Бавыкина, ни близкие ее знакомые не знали, куда она делась.

Ночная попойка заставила Мировича более суток не выходить сверху, из комнат Ломоносова. Оба они скрывались там – один от жены, другой от Настасьи Филатовны. У Ломоносова, вследствие невоздержности, возвратился особенный, судорожный, с странным и смешным присвистом кашель, которым он, как и опухолью ног, страдал в последние годы. Ломоносов в шутку называл его своим «соловьем». И этот соловей имел своеобразный обычай: он начинал в нем распевать именно всякий раз, когда Ломоносов не выдерживал и заходил в ресторан Иберкампфа, Гантовера или бывший невдали от Синего моста Амбахарши.

Беседуя с Михаилом Васильевичем, в кабинете последнего, о масонстве, о чужих странах и новостях дня, Мирович вкратце передал ему и о своем, так печально кончившемся, сердечном романе. Поликсены не было, и где она – решительно нельзя было узнать. Ломоносов, выслушав исповедь Мировича, нахмурился.

«Вот она, судьба, – думал он, – что любим, чего жаждем, того и нет… И она-то что за птица? И чем он ей не пара? Писал, перестала отвечать… А может, только прячется, испытывает молодого человека, каков он и будет ли верен ей?»

Хозяин и гость делали разные предположения, судили, рядили. Мир фантастических грез охватил опять и не покидал Мировича. Ночью к постели его слетались странные, тревожные образы: опять война, он ранен, брошен где-то в незнакомом городе. Собор залит огнями; пышные экипажи, разряженная публика. Кого-то венчают. Новобрачная сходит по ступеням паперти – это Поликсена. Мирович в рубище, на костыле, пробирается сквозь толпу, хочет крикнуть – и просыпается…

Вечером вторых суток дочь Ломоносова, Леночка, принесла наверх записку, доставленную с придворным лакеем. То было письмо к Мировичу от камер-фурьера Василия Кириллыча Рубановского.

«Любления ради человеческого, – писал ему старый ритор-бурсак, – от ветхого и годами источенного древа, листвию зеленому и многоценному, в разуме же, делех, а такожде и в забавах искусством умиляющему и всеми дарами сияющу, государю моему, подпоручику Мировичу, – поклон! – А я, – государь мой и многомилостивый патрон, – дознался для тебя о месте, где днесь пребывает лепокудрая и нравом достойная, искомая вами, отроковица Пчёлкина. А отъехала она, в генваре, в город Шлиссельбург и живет ныне тамо в крепости бонною, сиречь – губернёркою, при детях вдового капитана гвардии, князя Чурмантеева. Числится же тот Чурмантеев с нового сего года главным приставом при тамошней статстюрьме; а и как вам попасть туда, я несведом. Цидулку же сию доставит вам камер-лакей внутренних апартаментов покойныя государыни, Тихон Касаткин. Он же и отвозил девицу Пчёлкину от двора в город Шлюшин. Засим, а ревуар, здравствуйте… А о петерке чудодейственной не забыть мне отныне и до веку».

Прочитав раз и другой это письмо, Мирович передал его Ломоносову, а сам поспешил вниз – объясниться с Касаткиным. Он возвратился радостный, взволнованный…

– Боже мой, слышишь? – вскрикнул ему навстречу Ломоносов. – Тайная государственная тюрьма! Князь Чурмантеев…

– Да, так написано, и посланный то же подтвердил.

– Но знаешь ли ты, кто в этой тюрьме сидит? – спросил, уставясь в него, Ломоносов.

– Не знаю, Михаил Васильич, почем мне знать…

– Он… он! – продолжал, волнуясь и заглушая рвавшийся из груди судорожный, свистящий кашель, Ломоносов. – От колыбели! Двадцать второй год он томится в душном застенке…

– Да кто же он?

– Царственный узник!.. Помнишь, я тебе говорил?.. Богом назначенный, а людьми свергнутый, российский, природный царям и в России рожденный император, Иоанн Третий, как его именовали в актах, Антонович!..

Леночка, видя смущение и даже как бы испуг отца, присела в темном углу, робко выглядывая из-за шкафа. Ломоносов встал, прошелся по кабинету, вздохнул, провел рукою по глазам, хотел что-то сказать и не мог. Он ухватился за сердце, бросился к рабочему столу и из потайного ящика, дрожащими руками, достал несколько пожелтелых, истрепанных печатных листков.

– Оды мои! От лучшие хвалебные мои оды в честь этого императора! – сказал Ломоносов, блуждающим взором глядя как бы в некоторую светозарную даль. – Я, государь мой, прибыл сюда из Германии летом в правление именно этого младенца-царя… Ты поймешь, как мне дорого это имя! Я писал от сердца, я был искренно, глубоко восхищен… Слушай…

Нагреты нежным воды югом,
Дикуют светло друг пред другом —
Златой начался снова век…
Природы царской ветвь прекрасна,
Моя надежда, радость, свет.
Счастливых дней Аврора ясна,
Монарх-младенец, райский цвет!..

– И ты знаешь? Я пошел с этими стихами в прежний дворец, прочел их перед правительницей Анной Леопольдовной и младенцем, и она при всем дворе, в благодарность, склонила мне с подушки августейшую головку сына… Понимаешь ли, что я тогда чувствовал? Вот, смотри, читай…

– Странно! – произнес Мирович. – Стихи напечатаны, а я их нигде не встречал…

– Они явились в отдельном прибавлении при «Ведомостях»… Но их отобрали, когда на престол взошла Елисавета; мало того – их жгли с манифестами, указами, присяжными листами и другими актами, где только упоминалось имя этого несчастнорожденного…

– Манифесты были его имени?

– Как же! Четыреста четыре дня страна читала: «Божию милостию, мы, Иоанн Третий, император и самодержец всероссийский…»

– Извините меня, Михайло Васильич! – сказал в глубоком изумлении Мирович. – Мало я, как есть, знаю об этих событиях. У нас в корпусе о том молчали, за границей, видно, забыли… Слышал я от одного товарища и от Настасьи Филатовны, да смутную… Скупа она всегда была на этот счет. Как и почему все это произошло?

– Злополучные аргонавты! – ответил Ломоносов. – Роковое же золотое руно, выпавшее им на долю, был император-застенщик… Изволь, я тебе, что знаю, когда-нибудь при случае расскажу. Печальный трактамёнт услышишь, печальный…

Он спрятал листки обратно в стол, подложил в камин поленьев, сел в кресле, закрыл лицо рукой и задумался. Мирович сидел возле него, не спуская с него глаз, и ждал, чуть переводя дыхание. Минут через десять Ломоносов очнулся, но заговорил о другом.

«Расспрошу Филатовну», – подумал, уходя от него, Мирович.

VI. Несчастнорожденный

Дня через два Ломоносов, поздно вечером, позвал Мировича наверх и подвел его к окну. Все небо было залито северным сиянием.

– Сполохи отворенного воздушного моря! – сказал Михайло Васильевич, наводя в форточку новую изобретенную им трубу.

Долго оба они следили за пышными, будто двигавшимися, то розовыми, то голубыми огненными столбами. Вдруг Ломоносов встал, прошелся по комнате и опять сел.

– Эпок царствования моей богини – Елисавет-Петровны, – начал он, покашливая, – цепь невесть каких противоречий! И я тебе, государь мой, в рассуждение прерванного намедни нашего трактамента доложу не инако как с прискорбием, – много, много лежит греха на ее советниках… Сколько она страдала, сколько ждала! Дщерь Петра – и не была допущена на родительский престол… Всеми была оставлена, и ей не помогали; отринута, пренебрежена – и за нее не отмщали!.. Но сама героиня севера о себе подумала… Слушай… Всем памятна ночь на двадцать пятое ноября, семьсот сорок первого года… Елисавет-Петровна, богоравная, надела кирасу на платье, помолясь, села в сани и поехала, с своими партизанами, в Преображенские казармы. Там объявила она себя императрицей, пошла с верными гренадерами в Зимний дворец и арестовала всю спавшую брауншвейгскую фамилию: правительницу государства, Анну Леопольдовну, ее мужа, добряка-заику, генералиссимуса Антона-Ульриха, и их сына, младенца-императора, Ивана Антоновича. Малютка был объявлен самодержавцем двух месяцев от роду… В манифесте его назвали Иоанном Третьим: другие же именовали впоследствии Пятым и Шестым, памятуя древних Иоаннов. Была в честь младенца-монарха выбита медаль, и на ней поднимавшаяся к небу императрица Анна вручала ему корону… Россия от его лица управлялась год и тридцать девять дней, а всего четыреста четыре дня…

Ломоносов остановился.

– Четыреста четыре дня!.. И за то страдать годы, всю жизнь! – продолжал он. – Где, в какой стране отыщешь подобный, столь трагический и роковой истории пример? Железная маска? Да и тому государственному узнику было легче…

– Спрашивал я Настасью Филатьевну, – проговорил Мирович. – Чудные дела.

– Ну, и что ж рассказала она тебе?

– Сильно скорбит об участи несчастного.

– Жестокая, жестокая издевка судьбы, – продолжал Ломоносов, – когда императрица Елисавет-Петровна привезла в своей шубе, по морозу, низвергнутого малютку-императора в собственный свой дворец – залилась она, добросклонная, слезами и воскликнула: «Бедное дитя! Ты ни в чем не повинно… Виноваты твои родители…» Вышел вскоре манифест. В нем было объявлено, что всю брауншвейгскую фамилию государыня, предав все их поступки забвению, повелела с надлежащею им честью и достойным удовольствием отпустить навсегда обратно за границу – в их отечество. И повезли их на родину, в Германию. Но чего хотели добрые, того не попустили злые… Едва злосчастные странники под надзором генерал-лейтенанта Салтыкова, пробираясь к Кёнигсбергу, доехали до Риги, едва с бывшей правительницы взяли там присягу новой государыне, Елисавет Петровна, по совету усердного Фридриха, своего лейб-медикуса Лестока, повелела им далее не двигаться. В то время, надо тебе сказать, из Голштинии, с великой тревогой, ждали в Петербурге другого генерала, действительного камергера, барона Корфа, а с ним родного племянника Елисаветы – «чертушку, что жил в Голпггине», как звала царица Анна ненавистного ей принца Петра Федорыча. Государыне шепнули – как бы германские родичи низложенного императора, в отместку ей, не задержали на границе избранного ею наследника. Но он благополучно прибыл в Петербург.

И затеяли его учить, а вскоре и женить. Приехала инкогнито из Цербста, под именем графини Рейнбуш, его невеста, Екатерина Алексеевна. Несчастного ж правнука царя Ивана Алексеича, с семьей, стали держать в Рижской цитадели. Выгодно было пугать государыню. Ну, Лесток с братией и пугал. Щеголь и говорун был он, а уж сквернавец первого ранжиру… На маковке пудра, под маковкой тундра… Да что – не могу, не могу… Душа разрывается. Спроси других, всяк тебе нынче о том скажет…

Ломоносов смолк опять. Мирович, видя его волнение, более не расспрашивал. Ему и без него в эти дни удалось узнать немало нового. Филатовна была в духе и, не то что в прежние годы, не стеснялась. Питомец ее был теперь взрослый человек, и страшного тайного приказа уже третий месяц не существовало. Тряхнула она своими воспоминаниями. А чего только по этому поводу не знала вдова лейб-кампанца как от мужа, так и от его товарищей!

– Ох, терпели высланные мученики, – рассказывала Мировичу Филатовна, – прожили в Риге более года. А императрице, свет-матушке, доносили всякие слухи и сплетни о задержанных. Бывшая правительница ее-де не признает да не почитает, а наперсница ее, фрейлина Менгденша, подбивает-де ее к бегству. Ходил, Вася, слух, будто правительница и взаправду покушалась бежать, в мужицком простом платье, на корабле. Из Риги их перевели в другую крепость. У Анны Леопольдовны здесь родилась дочь, Елизавета. В честь новой царицы назвали ее, бедную… да не к добру… Пробрехался в Питере спьяну один камерлакей, что вскоре снова ждать перемены, что быть опять царем Ивану Третьему… Твой земляк какой-то, из старшины, писал другому, будто все в Питере за Ивана, и это самое письмо было перехвачено… Да и фон Миних с Оштерманом, во время суда над ними, думая, что сосланная-то фамилия уж за границей, немало на них плели.

– Гнусные трусы, себялюбцы! – произнес Мирович, не спуская с рассказчицы пылавших, негодующих глаз.

– Так, так, Вася… А перед тем пришел донос и о самом генерале Салтыкове – чай, слышал о нем? Он состоял при арестованных. Ребенок-от император – он в ту пору был по четвертому годку – играл-де в комнате с собачкой и ударил ее, этак шутя, по лбу ложкой. Нянька и спроси Иванушку: «Кому-де, батюшка, как вырастешь, голову отсечешь?» А ребенок будто и ответил: «Василию, мол, Федорычу» – сиречь Салтыкову. Вспрыгались тут от этаких вестей. Норов дитяти, вишь, сказывался преострый, догадливый. «Сослать их подале, в самую глубь России! – стал твердить государыне лекарь ейный, Лешток. – Без того-де трон твой новый непрочен». А тут поспел, с волчьим советом, и немецкий король. «Не худо, – писал он государыне, – сослать Иванушку и его родителев в такой угол, где б о них и память умерла… В вашей, мол, стране, ваше царское величество, таковых мест немало… Иначе ждите бед». Таки-то речи и порешили дело… Подумала свет-матушка государыня, погадала и послала указ: известных персон тайно отвезти в город Ранибург, Рязанской, это выходит, губернии. Снарядили бедных, взяли и по зимней стуже, в метели и в бездорожье, через Калугу и Тулу, доставили в Ранибург, в начале весны. При этом ошиблись, Василий, конвойные и мало не завезли их к киргизам – вместо Ранибурга в город Оренбург…

– Эка, варвары! – прошептал Мирович.

– Варвары? Слушай, друг. То ли еще было впереди. На новом месте несчастным вышло хуже прежнего. Поместили их – о том мужу моему в тайности сказывал опосля конвойный капрал, – поместили в ветхом и запущенном деревянном доме, где в стары годы содержался в ссылке царев любимец, князь Меншиков. Не было там ни годной провизии, ни прислуги; вода гнилая, болотная. Принцесса была опять в тягости. Иванушка хворый. А тут в Питере снова пошли толки о возврате к правлению Ивана Антоныча. Осенью были страшные казни: ох! Сама ходила – видела! А на допросе и не то еще подтвердилось… В гвардейских полках, друг ты мой, так, сдуру притом, надеялись, что говорили: «наши, уповаем, и за ружье, в таком разе, не возьмутся…» А тут, по весне, стала слышна новая молва… В городе шепотом,

украдкой начали толковать, будто к заключенным в Ранибург – сама я слышала от кумы-протопопицы – дошел для сборов на церковь некий, сказать тебе, раскольничий монах и что он уговорился с принцессою и с принцем, тайно, с их согласия, похитил Иванушку, а дабы его укрыть, до возраста, среди своих единоверцев, бежал с ним в раскольничьи слободы, на Вятку, в Польшу… Беглецов якобы настигли в лесах под Смоленском; монаха повезли на розыск в Питер, а Иванушку в Валдайский монастырь… Да не отложить ли, Васенька, сказ на завтра? Поздно, стемнело…

– Ах, матушка вы моя родная, говорите, говорите! – сказал, ухватив за руки Филатовну, Мирович.

– Ну, после таких слухов, Василий, в Рязанскую-то губернию к заключенным, как снег на голову, и прискакал нонешний наш енарал-полицмейстер, барон Корф. Ему велено было тех арестантов отвезти под сильной стражей еще далее, а именно в город Архангельск, и оттоле ночью, по тайности, в Соловецкий монастырь… Аки гром сразила заключенных эта весть о новом переезде. Думали они, что их везут в Сибирь, в тот город, где жил всеми клятый Бирон. «Не видать мне боле сына! – вопила, без памяти, принцесса. – Прощай, Ваничка, мой царь, прощай навеки!» Разлучили ее с любимыми слугами и с наперсницей, фрейлиной Менгденшей. Отобрали все ее вещи, баулы, часы, дорогие гребни, перстни… Сестру Менгденши я у Шепелёвых после видела, и она им про то сказывала… Аспиды, как есть аспиды, последнюю атласну юбчонку с принцессы сняли, повезли ее в простом платье…

Бавыкина отерла глаза.

– Иванушку, по пятому годку, – продолжала она, – под охраной енарала Корфа повез с собой в коляске майор, не помню, какого полку, а по прозвищу Миллер. Двинулись осенью, опять в бездорожье, дождь, а потом в снег и холода. Подводы вперед и квартеры для ссыльных готовил полковник – прости господи! – Чёртов… Помню я его. Страшное этакое имя, а добрый был человек. К кучеру покойной царицы хаживал. Для сбережения Иванушки велено ему было иметь при коляске нарочитого солдата, а ребенка звать – надо думать, в напоминание о проклятом Гришке Отрепьеве, – не иначе как Григорием, и кого везет, никому не объявлять, а верх в коляске держать повсегда закрытым. Приехали путники к Белому морю… И хотя в тайне от всех держали тот отъезд, только слухи о нем все-таки дошли до Питера. Полковник Чёртов вдруг, представь, тронулся умом, – господень перст. А пока узнали о том и увезли его тоже куда-то, он, среди всякой пустоши, болтал и о тех несчастных. Боле, Васенька, ничего про них не знаю. Таков-то ноне свет: самый он изменчивый, линущий; тлёю везде пахнет… смертью.

Передав рассказ Бавыкиной Ломоносову, Мирович неделю спустя улучил минуту и, будто мимоходом, спросил его, что потом произошло с бедными заключенными?

– Изволь, расскажу, – ответил Ломоносов, – как сблизился я с фаворитом покойной государыни, с Иваном Иванычем Шуваловым, стал этот юный вельможа, а мой патрон и друг, езжать ко мне, на беседу о пользе наук и на уроки стихосложения… Тут он иной раз доверял мне сказывать и о том, что слышал о младенце-императоре… «Где они теперь?» – спросил я раз Ивана Иваныча. «На твоей родине, говорит, в архиерейском подворье, в Холмогорах». Так у меня, друг ты мой, сердце и замерло. «А разве не в Соловках?» – «Коммуникации, – отвечает, – по полугода с берегом там не бывает, так боятся этак-то поодаль держать… Да и лед с осени помешал тронуться в Бело море». – «Как же они, спрашиваю, там живут?» – «Иванушку, объясняет, порознь содержат от родителей и сестер… Внесли его, бедного, в монастырский двор, закрытого с головой, чтоб никто и не знал, где и кого там спрячут». Тяжело стало здесь заключенным. В Ранибурге, сам понимаешь, все были вместе, да и свободней жили, гуляли по роще, по реке. А тут не только за ограду двора – из комнат на крыльцо их не выпускали. Надо, впрочем, правду сказать о доставителе арестантов, о бароне Корфе: он сильно заботился о сосланных. Но его отозвали, а надзор за секретными персо-

нами поручили капитану Миллеру. По весне принцесса родила второго сына, Петра, а через год родила третьего, Алексея, и от тех родов на двадцать восьмом году жизни кончилась. Тело ее, по именному указу, было тайно в спирте привезено в Петербург и с церемонией погребено в Александровской лавре, рядом с ее матерью, царевной Катериной Ивановной. Императрица при похоронах много плакала… Сам я видел… Пристав Миллер неотлучно находился при Иванушке, чтоб он в двери не ушел либо от резвости в окно не выскочил. Высокая деревянная ограда окружала двор, церковь, пруд и дома, где поселились несчастные. Ворота постоянно были заперты тяжелыми замками. В таком уединении, унынии и скуке пристав Миллер, как и капитан Чёртов, тоже было тронулся умом. Ему разрешили выписать и поместить с собой жену, но с тем, чтоб и она, блюдя секрет, в принцевых комнатах неисходна была… На десятом году Иванушка чуть не умер от повальной в тех местах какой-то злокачественной хворобы. На двенадцатом его разлучили с Миллером, коего наградили деревнями и переместили полковником фузилерного какого-то полка в Казань. Перед его выездом из Холмогор с принцем одновременно произошли два весьма важных события…

– Какие? – спросил Мирович.

– А вот постой, стемнело – растопим камин… Леночка, – обратился Ломоносов к дочери, сидевшей тут, – глянь-ка, открыта ль труба? По словам одних, караульный солдат, а по уверению других, из жалости к мальчику, жена Миллера сообщила Иоанну о его происхождении.

– Что вы? – изумился Мирович.

– Отец принца, Антон Ульрих, до той поры, надо тебе сказать, жил в нескольких стах шагах от тюрьмы Иванушки и даже не подозревал, в каком небрежении, за зеленеющими против его окон вербами огорода, томился и чахнул его сын… Тут он умолил, сказывают, жену Миллера, и та, перед выездом в Казань, тайно с мужем выучила принца молитвам и грамоте… После того Иоанн прожил в Холмогорах еще пять лет… Чаша бедств еще не была переполнена… На семнадцатом году злополучного принца перевезли в Шлиссельбургскую крепость…

– Но по какой же причине перевезли принца в Шлиссельбург? – спросил Мирович. – Сколько теперь и в корпусе я ни допытывался о том, никто не объяснил.

Михайло Васильевич затуманенным взором взглянул на него.

– Тот же лукавый и гордый Берлин, тот же бессердечный себялюбец Фридрих, загнавший несчастных в ледяную могильную глушь, был тому причиной, а если хочешь, то и я сам! – сдавленным, глухим голосом добавил Ломоносов, подняв и опять бессильно опустив руки. – Да, государь мой, я в том виноват – на мне грех…

– Что вы, Михайло Васильич, может ли это быть?

– Не удивляйтесь! Именно так: слушай теперь уж до конца… Дивны дела твои, Господи… дивен перст божий…

Несколько мгновений Ломоносов, понурясь, молча глядел в разгоравшийся камин.

– Года за три до того, или нет, постой, не так! – начал он. – Приходит раз ко мне в лабораторию пребольшущий этакой, густобородый, рус волосом и ражий из себя купчина… Зовется тобольским посадским, Иваном Зубаревым. Просит образцы сибирских руд испробовать в академической лаборатории. Подал я о них апробацию. Думал ли, что стрясется такое горе! После, представь, образцы оказались не из Сибири. А между тем он выспрашивает о Холмогорах. «Вы, говорит, оттоль родиной: так и так, мол: собираюсь туда торговать, коли казна не даст пособия на разработку руд». Я с ним стал водить компанию. Ну, не без того, что и в герберги хаживали, по душе толковали… Зашла речь и об Иване Антоныче. Сердце у меня всегда по нем болело. Я, значит, то и другое ему о нем и высказал. Слушает купчина, а сам на ус мотает. «Вот бы, – вдруг сказал он, – выкрасть бывшего императора. То-то пошел бы сполох…»

– Что ж вы ему на то? – спросил бледный, охваченный волнением Мирович.

– Привожу такие и такие статские и политические резоны. «Какой, говорю, может быть он государь? Он одичал, не учился».

Как попался Зубарев с фальшивыми рудами его в сыскной приказ. Но он оттуда дал тягу. А через год его поймали на посольской границе, в раскольничьих слободах, как шпиона прусского короля. После уж я вспомнил, что он крестился двуперстно, был раскольщик да чуть ли к тому и не скопец… Привезли его сначала в Киев с беглыми конокрадами, потом опять в Петербург. Тут он, в тайной канцелярии, по довольному увещанию, с пристрастием во всем Александру Иванычу Шувалову и покаялся. Что же оказалось?.. Из приказа он бежал, через Стародуб, на Ветку, прямо в раскольничий Лаврентьев монастырь – куда перед тем метил и укрывший Иванушку монах-бегун, а оттуда пробрался через Кролевец в Берлин. Бывший в нашей службе выходец Манштейн представил его королю Фридриху. Фридрих дал ему чин полковника своего регимента и послал его к раскольникам. Там, за обещание свободного выбора попов, он должен был подготовить бунт в пользу Иоанна и затем ехать в Архангельск, куда к весне был снаряжен прусский король, – подкупить солдат и портомойку и похитить Ивана Антоныча в Берлин… На дорогу Зубареву Фридрих собственноручно дал тысячу червонцев и две медали, с портретами – своим и деда бывшего императора. Во всем этом Зубарев сознался на допросе и вторично то же подтвердил перед смертью, на исповеди в тайной экспедиции, где и умер… Не защити меня фаворит государыни, был бы и я на розыске… Впрочем, спасло и то… о наших речах про Холмогоры Зубарев не сказал на розыске ни слова. Чуть он все объяснил, в Холмогоры поскакал сержант лейб-компании Савин. Он в наглухо закрытой карете секретно ночью и вывез оттуда принца Иоанна… А приставу, сторожившему принца, объявили повеление – никому не подавать ни малейшего вида о вывозе арестанта, в кабинет же рапортовать, что он, с семьей, под его караулом находится, как и прежде, а за остальными наикрепчайше смотреть, чтобы не учинили утечки. Савин доставил секретно Ивана Антоныча в Шлиссельбург по весне и всю дорогу отнюдь не смел ему говорить, куда он его везет и далеко ли будет то место от столиц. Здесь принцу Иоанну дали прозвище колодника Безымянного, а ближайшими приставами над ним назначили какого-то прапорщика да сержанта… Фаворит Шувалов немало удивлялся, что один из них судился за убийство на экзекуции солдата и помилован, с переводом в эту должность, а другого самого солдаты чуть не запороли, за жестокости, – так их сквозь строй гоняли, а его в крепость упрятали. В инструкции приставам было сказано: кроме их, в казарму принца никому не ходить и его не видеть; каков арестант, стар или молод, русский или иностранец, никому не говорить; и в письмах в дома свои не упоминать, где сами они находятся и из которого места пишут. С воцарением нового государя, в прошлом январе, главным стражем над принцем назначили капитана гвардии, князя Чурмантеева.

– Вот случай! Вот кстати! – радостно перебил Мирович. – Ах, боже мой! Все эти дни я думал-думал… представьте, вечер-то у Дрезденши… там именно толковали… и Рубановский пишет…

– Не радуйся, Василий Яковлевич, не радуйся! – как бы не расслышав его, продолжал Ломоносов. – Помни одно, строгостей в этом, думаю, отнюдь не убавили. Тамошнему коменданту давно дан такой приказ, чтоб в крепость, кто бы ни приехал, хотя бы генерал, или фельдмаршал, или подобный им, никого не пускать. Но вот что еще ему добавили: что, если из комнат его высочества, великого князя Петра Федорыча, камердинер в крепость приедет, то и того камердинера не пускать, а объявить ему, что без указа тайной канцелярии не велено. Много сатирствовал над этой добавкой к указу фаворит покойной государыни… И тех инструкций не отменили…

– Умереть – не понимаю! – сказал Мирович. – Из-за чего тут был упомянут великий князь?

– Упомянут он был здесь недаром… В то время наследник особенно враждовал с своей женой. А разойдясь с ней, по слепотству к прусскому королю, он чуть вконец не разошелся и с государыней-теткой. Императрица до глубины души была возмущена таким шиканством и противностями своего племянника. Примирить его с женой ей не удалось, даже для вида. А в поклонениях Пруссии он был до того предерзостен, что не верил победам русских и даже сообщал Фридриху тайные планы нашей армии. Тогда-то одумавшийся канцлер Бестужев дал Елисавете совет: выслать племянника обратно за границу, а на его место, в наследники русского престола, призвать из заточения Ивана Антоныча…

– Быть не может! – произнес, чуть не привскочив, Мирович. – Опять на трон этого узника? Железную маску?..

– Верь мне, знаю это, как тебя вижу… Пять лет назад – так кончу я печальную отповедь – государыня Елисавет-Петровна объявила желание тайно увидеть принца Иоанна.

– И видела?

– Одни говорят, что это свидание было в доме Шувалова на Невском, у старого дворца; другие же, что государыня, при пособии канцлера Воронцова, виделась с принцем у Смольного, в доме бывшего секретаря тайной экспедиции. Принца, под предлогом совета с доктором, привезли на курьерских к ночи; рано утром он опять был в Шлиссельбурге. Одели его в дорогу прилично. Петербургский форштадт он принял за слободу и не догадывался, с сем, через шестнадцать лет, ему пришлось снова встретиться… Елисавет-Петровна на это свидание явилась в мужском платье. Кроткий и важный вид несчастного юноши глубоко ее тронул. Она взяла его за руку, несмело, под видом доктора, сделала ему два-три ласковых вопроса. Но, когда ничего не знавший принц взглянул ей в глаза и, в ответ ей, послышался его жалобный, раздиравший душу голос, государыня вздрогнула, залилась слезами и, прошептав окружавшим: «Голубь, подстреленный голубь! Не могу его видеть!», уехала и более его не видела и о нем не спрашивала… А на замыслы Фридриха освободить принца объявила: «Ничего не поделает король; сунется, велю Иванушке голову отрубить…»

Ломоносов помешал в камине. Посыпалось несколько искр, но дрова, запылавшие вначале, понемногу угасли. В комнате окончательно стемнело. Столбы северного сияния сильней разыгрались, пышно мерцая голубыми и розовыми полосами сквозь ветви безлистых, глядевших в окно дерев.

– Высылка за границу Петра Федоровича, – заключил Ломоносов, – разумеется, была отменена. Но великий князь дознался о секретной встрече тетки с Иваном Антонычем. Он сильно стал опасаться этого тайного соперника и – странно сказать! – в то же время, по природной доброте, всем сердцем ему сострадал и сочувствовал. «Каков он, да где и как содержится? – допытывал во дворце Петр Федорыч встречных-поперечных, распудренных дворянчиков. – Да что он говорил с государыней, в каком месте было рандеву и что между них, при той конверсанции, условлено?» Точных ответов на это он ни от кого, разумеется, не добился, а только больше и больше сердил без того недовольную государыню… Так прошел год, и два, и целых пять… Со смерти императрицы все снова забыли о принце… И живет он, двадцать второй год живет в застенке, под замком… И не видит, не слышит никого, кроме своей стражи. И вряд ли знает он, живы ли его родители, что делается на божьем свете и где, на каком конце его былого царства находится его тюрьма… Что и говорить! Царствовать он уже не может: куда о том и думать!.. Да хоть бы на волю его, дать увидеть свет, умягчить сердце бедного, ум… Ах, если б тебе удалось… побывать там и узнать!.. Только узнать… Да неужели ж не явится божьего, сильного чуда, чтоб избавить ни в чем не повинного этого мученика?..

Ломоносов смолк. В темном углу, за шкафом, послышался подавленный вздох. Кто-то незримый там тихо дышал и будто плакал. «Неужели? – суеверно, с шевельнувшимися на

голове волосами, подумал Мирович. – Неужели дух принца слетел и слушает нас?» Ломоносов встал. За шкапом была его Леночка. Он притянул ее к себе, осыпал поцелуями.

– Да за что же, за что? – повторяла, дрожа и ломая руки, потрясенная рассказом отца девочка. – Ах, скверные люди!.. Какие они злые!.. Иди, папа, к царю – проси за бедного…

– Слышишь, Василий Яковлевич? – произнес, прижимая дочь к груди, Ломоносов. – Слышишь?.. Дети вопиют!.. А они ведь увидят Царствие Небесное!..

– Я поеду в Шлиссельбург, к приставу Чурмантееву! – сказал, отирая пылавшее лицо, Мирович. – Что бы ни случилось, а я проникну туда; авось что-нибудь проведаю и о бедном, забытом всеми затворнике… Генералов, вон, даже фельдмаршалов туда не пускают… ну да посмотрим – была не была…

– Эхма, стар становлюсь, а то бы и я с тобой покатил, – произнес Ломоносов. – Погоди, не отыщу ли какой-нибудь подходящей тебе в оном любовном деле протекции…

Ломоносов не мог оказать пособия Мировичу. Выручил последнего знакомец Григория Орлова, князь Чурмантеев, к которому тот с товарищами собирался в памятную кутежную ночь доигрывать в карты. Этот Чурмантеев был отцом пристава шлиссельбургской тюрьмы. Мирович добыл от него, через Орлова, письмо к его сыну Юрию Андреичу, справил себе на выигранные деньги полное обмундирование, по новому прусскому образцу, нанял чухонскую тройку и поехал в Шлиссельбург. Приятель Ушаков оказал ему при этом случае другую услугу, достал ему рекомендацию к коменданту Бередникову, с племянником которого оба они служили в последнюю прусскую войну.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.